Николай Лесков

Божедомы

Николай Семёнович Лесков
Божедомы

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174788

Аннотация

«Божедомы» – ранняя редакция романа «Соборяне»

Содержание

Часть первая 4
I 4
II 13
III 30
IV 39
Конец ознакомительного фрагмента. 124

Николай Лесков
Божедомы

И дал им область чадами Божиими быти, верующими во имя Его.
Иоан. з. 1, г. 1, с. 12

Часть первая

I

Все вы, умершие в надежде жизни и воскресения, герои моего рассказа: ты, многоумный отец протопоп Савелий Туберозов, и ты, почивающий в ногах его домовища, непомерный дьякон Ахилла, и ты, кроткий паче всех человек отец Захария, – ко всем вам взываю я за пределы оставленной вами жизни: предъявите себя оставленному вами свету земному в той перстной одежде и в тех стужаниях и скорбях, в которых подвизались вы, работая дневи и злобе его.

Люди, житье-бытье которых составит предмет этого рассказа, суть жители старогородской соборной поповки. Это: отец протоиерей Савелий Туберозов, его вторствующий священник Захария Бенефисов и дьякон Ахилла Десницын. Все

эти три лица составляли духовную аристократию Старого Города, хронику которого некогда думал написать автор этого рассказа, прежде чем получил урок, что для такой хроники ныне еще не убо прииде время.

И многоумный протопоп Туберозов, и кроткий паче всех человек отец Захария, и непомерный дьякон Ахилла – все они давно известны Старому Городу; всех их Старый Город знал со стороны достохвальной, и над скромными могилами их долго еще будут совершаться каждую Дмитриеву субботу мирские панихиды.

Мы не берем своих длиннополых героев от дня рождения их и не будем рассказывать, много или мало их таскали за волосенки и много или мало секли их в семинарии. Это уже со всякою полнотою описано другими людьми, более нас искусными в подобных описаниях, – людьми, евшими хлебы, собираемые с приходов их отцами, и воздвигнувшими пяту свою на своих крохоборных кормильцев. Мы просто хотим представить людей старогородской поповки, с сокровенными помыслами тех из них, у кого были такие помыслы, и с наиболее выступающими слабостями, которые имели все они, зане все они были люди и все человеческое им было не чуждо.

Пора ранней молодости и юношеской свежести этих людей, так же как и пора их детства, до нас не касаются. Читатель может представить себе, что все эти годы наших героев протекли, как протекают эти годы у большинства людей рус-

ской духовной семьи, и читатель нимало в этом не ошибется.

То, что достойно внимания из жизни старогородских отцов, мы увидим из дневника протоиерея Туберозова, который составляет значительнейшую часть этих разбитых и потом сшитых на живую нитку литературных лоскутьев; а закрыв дневник отца Савелия, мы увидим своих героев на последней стадии их земного странствования и вонмем последнему вздоху их у двери гроба.

Чтобы видеть перед собою этих людей в той поре, в которой читателю приходится представлять их своему воображению, он должен рисовать себе главу всего старогородского духовенства, отца протоиерея Савелия Ефимовича Туберозова, мужчиною, совершающим уже пятый десяток жизни. Отец Туберозов высок ростом, плечист, с могучей широкою грудью, которая как будто говорит вам: "*обопрись на меня, ия тебя не выдам*". Наперсный крест, украшающий эту грудь, прибавляет к этим словам: "*веруй, и ты спасешься*". Отец протопоп тучен, но бодр, силен, подвижен и сохранил в замечательной степени пыл и энергию молодости. Голова его отлично красива: ее даже можно считать образцом мужественной красоты. Волосы Туберозова густы, как грива матерого африканского льва, и белы, как кудри Олимпийского Юпитера. Они художественно поднимаются чубом над его высоким артистическим лбом и тремя крупными волнами падают назад, не достигая плеч. В длинной, раздвоенной, как у того же Юпитера, бороде отца протопопа и в небольших усах, со-

единяющихся с бородою у углов рта, мелькает еще несколько черных волос, придающих этой бороде вид серебра, отделанного чернью. Брови же отца-протопопа совсем черны и круто заломанными латинскими эсами сдвигаются у основания его довольно большого и довольно толстого носа. Глаза у него коричневые, большие, немного гордые и смелые. Они всю жизнь свою не теряли способности освещаться присутствием разума; в них же близкие люди видали и блеск радостного восторга, и туманы скорбей, и слезы умиления; но в них же сверкал порою и огонь негодования, и они бросали искры гнева – гнева не малого, не суетного, не сварливого, а гнева большого человека. В эти глаза гляделась душа протопопа Савелия, которую сам он в своем христианском уповании считал бессмертною.

Захария Бенефисов, второй иерей старогородского собора, совсем в другом роде. Вся его личность есть воплощенная кротость и смирение. Соответственно тому, сколь мало желает заявлять себя кроткий дух его, столь мало же занимает места и как бы старается не отяготить собою землю и его крошечное тело. Он мал, худ, тщедушен и лыс, как пророк Елисей. Две маленькие букольки серо-желтеньких волосинок у него развеваются только над ушами. Косы у него нет никакой. Последние остатки ее исчезли уже давно; да и то это была коса столь мизерная, что дьякон Ахилла иначе ее не называл, как *мышиный хвостик*. Вместо бородки у отца Захарии точно приклеен кусочек губочки, ручки у него дет-

ские, и он их постоянно прячет в кармашки своего подрясника. Ножки у него, по сравнению того же дьякона, соломенные, и сам он весь точно сплетен из соломки. Добрейшие серенькие глазки его смотрят быстро, но поднимаются вверх очень редко, и то взглянут и сейчас же ищут места, куда бы им спрятаться от нескромного взора. Отцу Захарии почти столько же лет, как и отцу протопопу, и он так же, как и отец протопоп, при всех своих немощах сохранил живую душу, и бодрость, и подвижность.

Третий и последний представитель старогородского соборного духовенства, дьякон Ахилла, имел несколько определений, которые можно здесь привести для того, дабы он при помощи их сколько-нибудь удобнее нарисовался читателю.

Инспектор духовного училища, исключивший Ахиллу Десницына за его “великовозрастие и малоуспешие” из синтаксического класса, говорил ему: “Эко ты дубина какая протяженно-сложенная”. Ректор, вновь по особым ходатайствам принявший Ахиллу в класс реторики, удивлялся, глядя на него, и, изумляясь его бестолковости, говорил: “Недостаточно, думаю, будет тебя и дубиною называть, поелику в моих глазах ты по малости целый воз дров”. Регент же архиерейского хора, в который Ахилла Десницын попал по извлечении его из риторики и зачислении на причетническую должность, звал его “непомерным”.

– Бас у тебя, – говорил регент, – хороший, я слова про-

тив этого не имею, что хороший; словно пушка стреляет; но непомерен ты до страсти, и через эту непомерность я не знаю, как с тобой и обходиться.

Четвертое из характерных определений дьякону Ахилле было сделано самим архиеерем, и притом в весьма памятный для Ахиллы день, именно в день изгнания его, Ахиллы, из архиерейского хора и посылки на дьяконство в Старый Город. По этому определению дьякон Ахилла назывался “уязвленным”, и так как это название дано Ахилле лицом, значительно возвышенным над всеми, кто доселе снабжал этого дьякона от времени до времени различными кличками, то здесь совершенно уместно рассказать о том, по какому случаю ему стало приличествовать название “уязвленного”.

Дьякон Ахилла – человек в высшей степени смешливый и увлекающийся. Он не знал никакой меры своим увлечениям в юности, и мы будем видеть, знал ли он им какую-нибудь меру и к годам старости своей. Несмотря на всю “непомерность” баса Ахиллы, им все-таки очень дорожили в архиерейском хоре, где он хватал и верха и забирал под самую низкую октаву. Одно, чем страшен был регенту непомерный Ахилла, это “увлекательностью”. Так, он во всенощной никак не мог удержаться, чтобы пропеть “Свят Господь Бог наш” дважды, а непременно вырывался и в своем увлечении пел это один-одинешенек трижды, и никогда не мог вовремя окончить пения многолетий. Но во всех этих случаях, которые уже были известны и которые поэтому можно

было предвидеть, против “увлекательности” Ахиллы благоразумно принимались свои благоразумные меры, избавлявшие от всяких напастей и его, и его вокальное начальство. Так, например, поручалось кому-нибудь из взрослых певчих дергать Ахиллу за полы или осаживать его в благопотребную минуту вниз за плечи; а наконец, не надеясь на это, Ахилла сам еще изобрел на себя *“удерж”* в виде сапожного шила, врученного им приятелю его тенору с поручением вонзать это оружие в него, Ахиллу, как только придет момент, в который он должен остановиться.

Но не даром сложена пословица, что на всякий час не наздравствуешься. Как ни тщательно и любовно берегли Ахиллу от его увлечений, все-таки его не могли уберечь, и он самым трагическим образом оправдал на себе то теоретическое мнение, что “тому нет спасения, кто в самом себе носит своего врага”.

В большой из двунадесятых праздников Ахилла, исполняя причастный концерт, должен был делать весьма интересное и, по его мнению, весьма хитрое басовое соло на словах “и скорбьми уязвлен”. Значение, которое этому соло придавал регент и весь хор, внушали Ахилле много забот не ударить себя лицом в грязь и отличиться и перед любившим пение преосвященным, и перед всею губернскою аристократиею, которая соберется в церковь. Дьякон Ахилла изучил это соло великолепно. Дни и ночи он расхаживал то по комнате, то по двору, то по городскому саду, то по улицам, распе-

вая “уязвлен, уязвлен, уязвлен”, и наконец настал и самый день его славы, когда он должен был пропеть свое “уязвлен” перед всем собором. Отошла обедня, задернута завеса врат, и начался концерт. Велик и сияющ стоит с нотами в руках огромный Ахилла. Подходит и место басового соло. Ахилла отодвигает локтем соседа, выбивает себе в молчании такт своего соло “уязвлен”, и вот, дождавшись своего темпа, видит поднимающуюся с камертоном регентскую руку и – удивительнейшим образом, как труба архангельская, то быстро, то протяжно возглашает: “И скорбьми уязвлен, уязвлен, у-й-я-з-в-л-е-н, у-й-я-з-в-л-е-нн, уязвлен”. Силою останавливают Ахиллу от непредусмотренных излишних повторений, и концерт кончен. Но не кончен он был в увлекательной голове Ахиллы, и вот среди тихих приветствий, приносимых владыке подходящею к его благословению аристократиею, словно трубный глас с неба раздается: “Уязвлен, уй-яз-влен, уй-я-з-в-л-е-н”. Это поет ничего не понимающий в своем увлечении Ахилла; его дергают – он поет; его осаждают вниз за спины товарищей, – он поет: “уязвлен”; его, наконец, выводят, он все-таки поет: “у-я-з-в-л-е-н”. “Что тебе такое?” – спрашивают его с участием сердобольные люди. “Уйязвлен”, – отвечает, глядя всем им в глаза, Ахилла и так и остается у дверей притвора, пока струя свежего воздуха отрезвляет его напряженную экзальтацию.

Но кроме этой *уязвленности* и увлекательности, составлявших преобладающую черту характера дьякона Ахиллы,

у него было и еще одно определение, еще одна кличка, даже вписанная ему в его официальный документ. В документе этом, в аттестате, выданном дьякону Ахилле из семинарии, он был аттестован “удобоносительным”; но основания для этой аттестации должны сделаться известными читателям несколько позже.

В сравнении с протоиереем Туберозовым и отцом Бенефисовым Ахилла Десницын может назваться человеком молодым, но и ему уже минуло спартанское совершеннолетие; ему сорок лет, и по волосам его побежала седина. Роста он огромного, силы страшной, в манерах угловат и резок; тип лица имеет несколько южный, на каковом основании и утверждает иногда, что дед его или прадед был из малороссийских казаков, а в другой раз, что он просто происходит из турок. Но родословная Ахиллы известна, и по ней известно, что он испокон веков ведет род от русских колокольных дворян, и род его южнее берегов реки Оки никогда не забирался.

II

Жили все эти герои старомодного покроя на старогородской поповке над тихою и только лишь в полую воду судоходною рекою Турицею. У каждого из них, как у Туберозова, так и у Захарии, так и у дьякона Ахиллы, были свои домики на Заречье, как раз насупротив высившегося за рекою старинного пятиглавого собора с высокими коническими куполами. Ближе около собора, по тот бок реки, старогородское соборное духовенство не могло устроиться потому, что старинный город, окруженный по сие время валами и остатками стен, был построен очень тесно, большинство домов этой части принадлежало или явным, или тайным раскольникам и не продавались. Туберозов с своими присными сел по линии, выселившейся за реку и прозванной Заречьем. Тут было и здорово со стороны свежести, и вольготно со стороны простора, и весело со стороны прекрасного вида на реку и на Старый Город, соединявшийся с Заречьем посредством пловучего моста.

У отца Савелия домик был очень красивый, выкрашенный светло-голубою масляною краскою, с разноцветными звездочками, квадратиками и репейками, прибитыми над каждым из трех его окон. Окна эти обрамливались еще резными, ярко же раскрашенными, наличниками и зелеными ставнями, которые никогда не закрывались, потому что зи-

мой домик не боялся холода, а отец протопоп любил свет, любил звезду, заглядывающую ночью с неба в его комнату, любил лунный луч, полосою глазета ложащийся на его разделанный под паркет пол. В домике у отца протопопа всякая чистота и всякий порядок, потому что ни сорить, ни пачкать, ни нарушать порядка у него некому. Он одинок с своей протопопицей, и это одиночество составляет одну из непреходящих скорбей его.

У отца Захарии Бенефисова домик гораздо больше, чем дом отца Туберозова; но в бенефисовском домике нет того щегольства и кокетства, каким блещет жилище протоиерея. Пятиоконный, немного покосившийся серый дом отца Захарии похож скорее на большой птичник, и к довершению сходства его с этим заведением во все маленькие переплеты его зеленых окон постоянно толкутся различные носы и хохлики, друг друга оттирающие и друг друга преследующие. Это все потомство отца Захарии, которого Бог благословил яко Иакова, а жену его, матушку Евфросинью, умножил яко Рахиль. У отца Захарии не было ни зеркальной чистоты протопопского дома, ни его строгого порядка; но зато здесь было двадцать детей, от которых все летело копром да в кучу. На всем здесь лежали следы детских запачканных лап; из всякого угла торчала детская головенка, и все это шевелилось детьми, все это пищало и пело о детях, начиная запечными сверчками и оканчивая матерью Евфросиньею, убаюкивавшею свое потомство песенкой:

Дети мои, дети!
Куда мне вас дети?
Где вас положити?

Дьякон Ахилла, в отношении домовитости, был совсем плох и, будучи давно вдов и бездетен, нимало не заботился ни о стяжаниях, ни о домостройстве. У него была мазаная малороссийская хата на краю Заречья, но при этой хате не было никаких служб, ни заборов, кроме небольшой жердяной карды, на которой по колено в соломе бродили то пегий жеребец, то буланый мерин, то вороная кобылица. В доме Ахиллы тоже убранство было самое негустое: в чистой части этого помещения, где отдыхал сам хозяин, стоял деревянный диванчик с решетчатою спинкою. Этот диван заменял Ахилле и кровать, и потому он был застлан белою казанскою кошмою, а в изголовьи лежал чеканеный азиатский орчак, к которому была прислонена маленькая блино-образная подушка в просаленной китайчатой наволочке. Перед этим казачьим ложем стоял белый липовый стол, а на стене висели бесструнная гитара, пеньковый укрючный аркан, нагайка и две вязанные пукольками уздечки. В уголку на небольшой полочке стоял крошечный образок Успения Богородицы с водруженною за ним засохшею вербочкою и маленький киевский молитвословик. Более решительно ничего не было в жилище дьякона Ахиллы. Рядом же, в небольшой приспешной жила у него отставная горничная помещичьего до-

ма, Надежда Степановна, называемая Эсперансом или еще чаще Эсперанчиком. Это была особа маленькая, желтенькая, вострорылая, с характером самым неуживчивым и до того несносным, что, несмотря на свои золотые руки, она не находила нигде места и попала в слуги бездомовного Ахиллы, которому она могла сколько ей угодно трещать и чекотать, ибо он не замечал ни этого треска, ни чекота, и самое крайнее раздражение своей служанки в самые решительные минуты прекращал только громовым: “Эсперанс, провались!” После таких слов Эсперанса обыкновенно исчезала, зная, что иначе Ахилла посадит ее на крышу и продержит там весьма немалое время.

Все эти люди жили тихою жизнью, и в то же время все более или менее несли тяготы друг друга и друг другу восполняли небогатую разнообразием жизнь. Отец Савелий главенствовал над всем положением; его маленькая карманная протопопица чтила его и не слыхала в нем души; отец Захария тоже был счастлив в своем птичнике; не жаловался ни на что и дьякон Ахилла, проводивший все дни свои в беседах и в гуляньи по городу, или в выездке и мене своих коней, или, наконец, в дразнении своей “услужающей Эсперансы”.

Было бы, конечно, несправедливостью утверждать, что между обитателями старогородской поповки никогда уж не было и ни малейшего повода к каким бы то ни было друг на друга неудовольствиям. Нет; бывало нечто такое и здесь, и ожидающие нас страницы туберозовского дневника откроют

для нас многие мелочи, которые вовсе не казались мелочами для тех, кто их чувствовал, кто с ними боролся и кто переносил их. Но все-таки мы просим извинения у любителей прямых картин с попами пьяными, с попами завидущими, с попами ненасытными и каверзливыми – попы нашей поповки были несколько не таковы, да и прощено будет часто обвиняемому автору этого рассказа, что он позволил себе поискать для своего рассказа о попах несколько иных поповских типов, а не тех, с какими принято знакомить общество при посредстве талантливых писателей, с которыми автор, впрочем, наискромнейшим образом старается избегать всякого состязания.

Споры старогородской поповки возникали всегда только по обстоятельствам свойств тонких и щекотливых, и одно из таких недоразумений свирепствовало даже весьма недавно, всего за год до того дня, в который отец Туберозов сядет противу нас за просмотр всего написанного им в своем дневнике. Так как характер этого события, то есть характер смущающих ныне поповку недоразумений, с чрезвычайною полнотою и ясностию определяет характер всех подобных происшествий на старогородской поповке, равно как вообще и характер всех взаимных отношений всех лиц этой поповки, то мы расскажем эту доселе никому не известную распрю, вследствие которой отец Савелий Туберозов до сих пор питает на дьякона Ахиллу некоторое неудовольствие, выражаемое со стороны отца протопопа тем, что он в течение цело-

го года не шутит и не говорит с дьяконом ни о чем житейском, а ограничивается лишь одними служебными разговорами. Это очень тяжко самому протопопу Туберозову, потому что он не любит натянутых положений и любит дьякона Ахиллу, но еще тяжелее это простодушному дьякону Ахилле, который решительно не может сносить целый год продолжающихся холодных отношений к нему протопопа и который потому давно изыскивает всяческих случаев к восстановлению между собою и Туберозовым прежних теплых отношений, но никак не может напасть на благой путь, следуя которым, он мог бы надеяться овладеть потерянным благорасположением Туберозова.

Однако вожделенный день этот для дьякона Ахиллы уже не только занялся, но и истекает, и до наступления вечера сего дня, когда произойдет нечто способное положить конец протопопскому негодованию, мы едва имеем столько свободного времени, чтобы рассказать, из чего возникло самое неудовольствие протоиерея Туберозова на дьякона Ахиллу.

Событие это не лишено некоторого интереса и носит на себе следы своего местного, старогородского характера. Год тому назад отец Савелий Туберозов дозволил себе поступок, обсуждая который, довольно изрядное большинство просвещенных людей признали бы протопопа человеком мелким, завистливым, суетным и вообще человеком из разряда тех людей, которые давно должны быть для просвещенного человека не более, как сынове отрясенных.

Помещик и местный предводитель дворянства Алексей Никитич Плодомасов, ездивший год тому назад в Петербург, привез оттуда лицам любимого им соборного духовенства разные более или менее ценные подарки, и между прочим три священнические трости: две с совершенно одинаковыми набалдашниками из червонного золота для священников, то есть одну для отца Туберозова, а другую для отца Захарии, а третью с красивым набалдашником из серебра с чернью для дьякона Ахиллы.

Трости эти пали между старогородским духовенством как библейские змеи, которых кинули перед Фараона египетские кудесники. Не то чтобы кто-нибудь из старогородского духовенства был недоволен плодомасовским подарком и желал непременно лучшего; но…

– Сомнение, сомненье наведено этим большое, – рассказывал городничихе Порохонцевой дьякон Ахилла.

– Да в чем же тут, отец дьякон, сомнение? – спрашивала его удивленная городничиха.

– Ах, нет, Ольга Арсентьевна, вы этого не говорите! Пожалуйста, прошу вас, не говорите. Нет; нет, большое сомнение. Это, сколь я понимаю, все это ни для чего другого и сделано, собственно, как для вражды.

– Что вы, отец дьякон! Может ли быть, чтобы Плодомасов ссорить вас хотел?

– Да не Плодомасов, а враг-с. Помилуйте вы меня (дьякон выпятил вперед левую руку, закатил рукав и правою рукою

заломив у себя назад большой палец левой руки, воскликнул): во-первых, мне, как дьякону, по сану моему посоха носить не дозволено, – это раз. Повторительно я его теперь ношу, – это два, потому что он мне подарен; а во-третьях, Ольга Арсентьевна, эта одностайность… Ах, вы не говорите, не говорите, это… это ужасно. Помилуйте… отец Савелий… Ну, вы сами знаете… умница… То есть что говорить – умница, – ну просто министр юстиции, ну, скажем прямо – не министр юстиции, а настоящий гиперборей, – а и он ничего не может сообразить и смущен, и даже страшно смущен.

– Да чем же он смущен, отец дьякон?

– А тем смущен, что все это смущение: во-первых, что от этой одностайности смешенность. Как это? Чья эта трость? Извольте разбирать, которая отца протопопа, которая Захариина, когда они обе одинаковы? Но положим, на это бы можно заметку какую-нибудь положить, или сергучем под головкой, или сделать ножом на дереве нарезочку; но а что же вы поделаете с ними в рассуждении политики? Как теперь у одной из них цену или достоинство ее отнять, когда они обе одностайны? Ну, отец протопоп, ну ведь сами его знаете, ну умница, гиперборей, министр юстиции, – и у него в руках будет точно такая же трость, как у отца Захарии! Помилуйте вы меня, сударыня! Ведь это невозможно. Отцу протопопу не только в городе, а, может быть, и во всей епархии нет никого, кто бы противустоял по рассудку, а отец Захария и вышел по второму разряду, и дарований умеренных… Нет-

с; нет: ему одинакая трость с отцом Савелием не принадлежит; нет, не принадлежит. И отец протопоп это чувствуют; я вижу, что они об этом скорбят; но ведь отца протопопа вы знаете… его никто не проникнет… Я говорю: отец протопоп, больше ничего, как на отца Захариину трость я метку положу или нарезку сделаю. – “Не надо”, – говорит. – Ну, – говорю, – я потаенно от самого отца Захарии его трость супротив вашей укорочу с конца ножом. – “Глуп, – говорит, – ты”… Ну, глуп и глуп, – не впервой мне это от него слышать, а я все-таки вижу, что он всем этим недоволен… Ах, как недоволен; ах, весьма не доволен… – Дьякон поднял вверх палец, как раз против лба Порохонцевой, и произнес: – И вот вы скажите тогда, что я трижды глуп, если он не сполитикует. Отец-то Савелий?.. Это уж я наверно знаю, что он сполитикует.

И дьякон Ахилла не ошибся. Не прошло и месяца со времени вручения старогородскому соборному духовенству помянутых посохов, как отец протопоп Савелий вдруг стал собираться в губернский город.

Трудно было придавать какое-нибудь особенное значение этой поездке отца Туберозова, потому что протоиерей, будучи благочинным, частенько езжал в консисторию; а потому и действительно никто этой поездке никакого особенного значенья не придавал. Но вот отец протопоп, усевшись уже совсем в кибитку, вдруг обратился к провожавшему его отцу Захарию и сказал:

– А послушай-ка, отче: где твоя трость? Дай-ко ты мне ее,

я ее свезу в город.

Одно это обращение с этим словом, сказанным как будто невзначай, вдруг осенило умы всех провожавших со двора отъезжавшего отца Савелия.

Дьякон Ахилла первый сейчас же крякнул и шепнул на ухо отцу Бенефисову: “Это политика!”

– Для чего ж мою трость везти в город, отец протопоп? – вопросил смиренно моргающий своими глазами отец Захария.

– Для чего? А вот покажу, как нас с тобой люди уважают и помнят.

– Алеша, беги, принеси посошок, – послал домой сынишку отец Захария.

– Так, может быть, и мою трость тоже? – вопросил сколь умел мягче Ахилла.

– Нет; ты свою перед собою содержи, – отвечал отец Савелий.

– Что ж, отец протопоп, “перед собою”? И я же ведь точно так же… Тоже ведь внимания удостоен, – отвечал, слегка обижаясь, дьякон; но отец протопоп не удостоил его претензии никакого ответа и, положив рядом с собою поданную ему в это время трость отца Захария, поехал.

Отец протопоп ехал, ехали с ним и обе наделавшие смущения трости, а дьякон Ахилла томился разрешением себе загадки: зачем Туберозов отобрал трость у Захарии.

– Ну, что тебе? Что тебе до этого? Что тебе? – останавли-

вал Захария томящегося любопытством дьякона.

– Отец Захария, я вам говорю, что он сполитикует.

– Ну, и сполитикует; а тебе что, ну и пусть сполитикует.

– Любопытен предвидеть, в чем сие заключается. Урезать он не хотел – сказал: глупость; метки я советовал, – тоже отвергнул. Одно, что предвижу…

– Ну, ну… ну что ты, болтун, предвидеть можешь?

– Одно, что… драгоценный камень вставит.

– Да; ну… ну куда же, куда он драгоценный камень вставит?

– В рукоять.

– Да в свою или в мою?

– В свою, разумеется, в свою. Драгоценный камень – ведь это драгоценность.

– Да, ну, а мою-то же трость он тогда зачем взял?

Дьякон ударил рукою себя по лбу и воскликнул: “Ах я неясыть пустынная, сколь я, однако, одурачился!”

– Надеюсь, надеюсь, что одурачился, – утверждал отец Захария.

– Ничего, стало быть, теперь не отгадаешь!.. Но сполитикует; страшно сполитикует! – твердил дьякон и, ходя по своей привычке из одного знакомого дома в другой, везде заводил бесконечные разговоры о том, с какою бы это целию отец Туберозов повез в губернию обе трости?

Благодаря суете, поднятой дьяконом, дело это стало интересовать всех, и весь город далеко не равнодушно ожидал

возвращения Туберозова.

Прошла неделя, и отец протопоп возвратился. Ахилла дьякон, объезжавший в это время вновь вымененного им дикого мерина, первый заметил приближение к городу протоиерейской черной кибитки и летел по всем улицам, останавливаясь перед открытыми окнами знакомых домов и крича: “Едет! едет Савелий! едет поп наш велий!”

– Теперь знаю, что такое! – говорил окружающим спешившийся у протопопских ворот дьякон. – Все эти размышления мои были глупостью моею: больше же ничего, как он просто литеры вырезал греческие или латинские. Так, так, так: это верно, что литеры, и если не литеры, сто раз меня дураком назовите.

– Погоди, погоди, и назовем, и назовем, – частил отец Захария в виду остановившейся у ворот протопопской кибитки.

Отец протопоп вылез из кибитки важный, солидный, взошел в дом, помолился, повидался с протопопицею, поцеловав ее при этом три раза в уста; потом он поздоровался с отцом Захарией, с которым они поцеловали друг друга в плечи, и наконец и с дьяконом Ахиллою, причем дьякон Ахилла поцеловал у отца протопопа руку, а отец протопоп приложил свои уста к его темени. После этого свидания началось чаепитие, разговоры, рассказы губернских новостей, и вечер уступил место ночи, а отец протопоп и не заикнулся об интересующих всех посохах.

День, другой и третий прошел, а отец протопоп и не заговаривает об этом деле: словно свез он посохи в губернию, да там по реке спустил.

– Вы же полюбопытствуйте! спросите! – беспрестанно зудил во все эти дни отца Захарию нетерпеливый дьякон Ахилла.

– Чего я буду его спрашивать? – отвечал отец Захария.

– Да ради любознательности спросить должно.

– Да, ради любознательности! Ну спроси, зуда, сам ради любознательности.

– Да он меня сконфузит.

– А! Видишь ты какой умник: а меня разве не сконфузит?

Дьякон просто сгорал от нетерпения и не знал, что придумать.

Но вот дело разрешилось и само собою. На пятый или на шестой день, по возвращении своем домой, отец Савелий, отслужив позднюю обедню, позвал к себе на водочку и городничего, и смотрителя училищ Тимонова, и лекаря Пуговкина, и отца Захарию с дьяконом Ахиллою и начал опять рассказывать, что слышал и что видел в губернии. Прежде всего отец протопоп говорил о новых постройках, потом о губернаторе, которого осуждал за неуважение к владыке и за постройку водопроводов, или, как отец протопоп выражался, “акведуков”.

– Акведуки эти, – говорил отец протопоп, – будут ни к чему, потому город малый, и притом тремя реками пересе-

кается; но магазины нечто весьма изящное начали представлять. Да вот я вам сейчас покажу, что касается нынешнего там искусства…

С этими словами отец протопоп вышел в боковую комнату и через минуту возвратился оттуда, держа в каждой руке по известной всем трости.

– Вот видите, – сказал он, поднося к глазам гостей верхние площади золотых набалдашников.

Ахилла дьякон так и воззрился, что такое сделано политиканом Савелием для различия достоинств одностайных тростей; но ничего такого не было заметно. Напротив, одностайность их как будто еще более увеличилась, потому что посередине набалдашника той и другой трости было совершенно одинаково выгравировано окруженное сиянием всевидящее око; а вокруг ока краткая, в виде узорчатой каймы, вязная надпись.

– А литер, отец протопоп, нет? – запытал, не утерпев, Ахилла.

– К чему же здесь литеры нужны?

– А для отличения одностайности?

– Все ты всегда со вздором лезешь, – заметил отец протопоп дьякону, и при этом, приставив одну трость к своей груди, сказал: – вот это будет мне.

Ахилла дьякон быстро глянул на набалдашник и прочел около всевидящего ока слова: “*Жезл Ааронов расцвел*”.

– А вот это, отец Захария, тебе, – докончил протопоп, по-

давая другую трость Захарии.

На этой вокруг такого же точно всевидящего ока такою же точно древлеславянскою вязью было выгравировано: “*Даде в руку его посох*”.

Ахилла как только прочел эту вторую подпись, так пал за спину отца Захарии и, уткнув голову в живот лекаря Пуговкина, заколотился и задергался в припадках неукротимого смеха.

– Ну что, зуда, что, что? – частил, обернувшись к нему, отец Захария, между тем как прочие гости еще рассматривали затейливую работу гравера на иерейских посохах. – Литеры! а! литеры, баран ты этакой?

Дьякон опять так и пырскнул.

– Чего, пустозвон, смеешься? чего помираешь?

– Это кто ж баран-то выходит теперь? – вопросил, немного оправляясь, дьякон.

– Да ты же, ты. Кто же еще баран?

Дьякон опять залился, замотал руками и, изловив отца Захарию за плечи, почти сел на него медведем и театральным шепотом забубнил:

– А вы, отец, вот это прочитайте: “*Даде в руку его посох*”. Это чему такая надпись соответствует?

– Чему? ну говори, чему.

– Тому, – заговорил протяжнее дьякон, – что дали, мол, ему линейкою палю в руку.

– Врешь.

– Вру! А отчего же его вон жезл расцвел? Потому это для превозвышения.

– Врешь.

– А вам для унижения палку в лапу.

– Врешь, врешь, все врешь.

– Ну, пусть же он с вами менка зробит, когда я вру.

– Начто менка?

– А потому, что он самолюб, и эту надпись вам больше ничего, как в конфуз сделал.

Отец Захария смутился. Дьякон торжествовал, наведя это смущение на тихого отца Бенефисова; но торжество Ахиллы было непродолжительно.

Не успел он оглянуться, как увидел, что отец протопоп пристально смотрел на него в оба глаза и чуть только заметил, что дьякон уже достаточно сконфузился, как обратился к гостям и самым спокойным голосом начал:

– Это надписи эти мне консисторский секретарь Афонасий Иванович присоветывал. Случилось нам, гуляя с ним перед вечером, зайти вместе к золотарю; он, Афонасий Иванович, и говорит: вот, говорит, отец протопоп, какие, мне пришла мысль, надписи вам на тростях подобают: вам вот этакую: “жезл Ааронов”, а отцу Захарии вот этакую очень пристойно.

– Сполитиковал, – буркнул на ухо отцу Захарии дьякон, но, по причине своего непомерного голоса, был снова услышан отцом протопопом, который засим уже непосредственно

обратился к Ахилле и сказал: – А тебе, отец дьякон… я и о твоей трости, как ты меня просил, думал сказать, но нашел, что лучше всего, чтобы ты с нею вовсе ходить не смел, потому что это твоему сану не принадлежит… – При этом отец протопоп спокойно подошел к углу, где стояла знаменитая трость Ахиллы, взял ее бестрепетною рукою и тою же рукою при всех здесь присутствовавших запер ключом в свой гардеробный шкаф.

– Отсюда, – говорил дьякон, – было все начало болезням моим. Потому я не стерпел и озлобился, а он, отец протопоп, своею политикой еще более уничтожал меня. Я свирепел, а он меня, как медведя на рогатину, сажал на эту политику.

Дьякон рассказывал эту историю в минуты крайнего своего волнения, в часы расстройства, раскаяний и беспокойств, и потому говорил нередко со слезами на глазах, со слезами в голосе и даже нередко с рыданиями.

III

– Мне, – говорил сквозь слезы взволнованный дьякон, – разумеется, тогда что следовало? Следовало пасть к ногам отца протопопа и сказать, что так и так, что я это, отец протопоп, не по злобе, не по ехидству, а так потому сказал, чтобы доказать отцу Захарии, что не глупей я его – не глупей. Ну что ж, власть ваша, мол, ну хоть ударьте меня за эту глупость, но… тут в этот час гордыня меня удержала, что он мою трость в шкаф запер, а после Варнавка Омнепотенский… Ах, я вам говорю… Ну, да не я буду, если я умру без того, что я этого просвирниного сына Варнавку не взвошу!

– Опять ты и этого не смеешь, – останавливал Ахиллу отец Захария.

– Отчего это не смею? За безбожие-то не смею?

– Не смеешь, хоть и за безбожие, так не смеешь, – он чиновник, чиновник: он учитель.

– Так что, что учитель? За безбожие я кого угодно возделаю. Очень просто: замотал покрепче руку ему в аксиосы, взвошил хорошенько да и выпустил, и ступай жалуйся, что бит духовным лицом за безбожие… Боже мой! Как подумаю – и что это тогда со мною поделалось, что его этакого негодивца Варнавку я слушал и что даже до сегодня я еще с ним как должно не расправился! Ведь Сергея же дьячка за рассужденье о громе я тогда же сейчас бил; комиссара Данил-

ку мещанина за едение яиц на улице в прошедший великий пост – опять тоже я весьма и весьма прилично поколотил, – а этому просвирнину сыну все спускаю, тогда как им я более всех и уязвлен! Отец протопоп гневались бы на меня за разговор с отцом Захариею, но все бы это не было долговременно; а этот просвирнин сын Варнавка, как вы его нынче видеть можете, учитель математики в уездном училище, озлобленному и уязвленному мне еще подтолдыкнул: “Да это, говорит, надпись туберозовская еще кроме того и глупа”. Я, знаете, будучи уязвлен, страх как жаждал, чем бы и самому отца Савелия уязвить, и спрашиваю: чем же глупа? А Варнавка говорит: “Тем глупа, что еще самый факт-то, о котором она гласит, не достоверен; да не только не достоверен, а и невероятен. Кто это засвидетельствовал, что жезл Ааронов расцвел? Сухое древо разве может расцвесть?” Я было его на этом даже остановил и говорю: “Пожалуйста, ты этого, Варнава Васильич, не говори, потому что Бог иде же хощет, побеждается естества чин”, но при этом, как это у акцизничихи у Безюкиной происходило, так все эти возлияния, все го-го, го-сотерн, да го-марго, – я… и немножко надрызгался. Я, изволите понимать, в угаре, а Варнавка мне, знаете, тут торочит, что “тогда ведь, говорит, и *Мани факел фарес* было на пиру Валтассаровом написано, а теперь я вам могу это самое фосфорной спичкой написать; да там во всем и противоречий пропасть”… И пошел, знаете, а я все это сижу да слушаю. А тут опять еще эти го-марго-то сокрушаешь, да

уж и достаточно уязвлен сделался, и сам заговорил в вольнодумном штыле. Не то, чтобы против бытописания, а насчет противоречий нашел, что точно, говорю, противоречия есть, потому что раз читается “жена да боится своего мужа”, и все будто мужчина верхним жорновом почитается, а тут вдруг опять в Исходе писано: “и призва Фараон бабы, и рече: бабы, бабы! егда бабите мужеский пол, убивайте его, а женский пол, снабдевайте его”, – это, говорю, ни с чем не сообразно, как Фараону с бабами разговоры весть, так и мужеский пол весь побивать его. Но акцизничиха Дарья Николавна в спор со мной: “это, говорит, Фараона только отлично рекомендует, что он принимал сторону женщин, и когда б, говорит, с его времени все бы цари дали такие приказы, чтобы мужеский пол убивать и снабдевать женский, то теперь мужчины бы, говорит, над нами наверное уж не господствовали”. Ну, я, знаете, ничего этого не понимаю, об чем она рацеи разводит, а тут же все эти бутылки стоят, а я их за хохлы да в рюмку, – ну уж, знаете, и сам в мансипацыю вошел. Угнетают, твержу, угнетают, точно угнетают, да бутылку-то опять за чепец, да и словно в самом деле уж бабой начинаю себя считать. Отцом протопопом уязвлен, вином омрачен, воспален этими речами женщины хитрой и Варнавки – и, знаете, вскипел.

– Мы, говорю, Дарья Николаевна, должны это… трах.

– Что это, говорит, такое *трах*?

– А так, говорю, трррах… то есть, чтоб к черту это все,

чтобы над нашим полом кто командовал. Я, говорю, я если бы только не видел отца Савелиевой прямоты, потому как знаю, что он прямо алтарю предстоит и жертва его прямо идет, как жертва Авелева, то я только Каином быть не хочу… А то бы я его… Это, понимаете, на отца Савелия-то! Ведь не глупец ли? Ну, а она, эта Данка-Нефалимка, говорит: “Да вы знаете ли цену Каину-то? Что такое, говорит, ваш Авель? Он больше ничего, как раб, раб, маленький барашек, искатель, – у него рабская натура, а Каин деятель. Вот, говорит, как его аглицкий писатель Бирон изображает…” Да и пошла. Ну, а тут все эти го-ма-го меня тоже наспиртуозили, и вот хочу быть я Каином, да и шабаш. Слава Богу моему и Создателю, что не было там отца Савелия, я бы ему непременно согрубил. Вышел я оттуда домой весь в азарте, дошел до отца Протопопова дома, стал перед его окнами и закричал: “Я царь, я раб, я червь, я бог!” Боже, сколь я был постыжен и уязвлен! Отец протопоп встали с постели, подошли в сорочке к окну и, распахнув раму, крикнули: “Ступай спать, Каин!”… Я ведь вам говорю – министр юстиции: все он провидит, все духом своим изобличит и предусмотрит. Я затрепетал весь от этого слова его “Каин”, потому только что собирался в Каины, и отошел к дому, и вся моя строптность тут же мгновенно пропала. – Но гнев отца протопопа не проходит, нет, нет, и до сегодня не проходит. Я приходил и на колени становился; винился во всем и каялся – говорил: “Отец протопоп! Бог грешников прощает, ужели же

я больше всех грешников грешен?” Но на все один ответ, – заключал, вздыхая, дьякон. – На все едино решение: “иди”. Куда идти мне? Куда, я вас спрашиваю? Разве я не чувствую, сколь я его обидел! Почтмейстерша Тимониха советует: “в полк, говорит, отец дьякон, идите, – вас полковые непременно очень любить будут”. Знаю я это, что полковые и очень могут меня любить; но что из меня самого-то в полку воспоследует? Ведь там уж я действительно Каином сделаюсь, потому у них эти все телодвижения разные, постоянно танцы и питра, а кто же меня станет удерживать? Ведь это, ведь один он все-таки еще меня содержит, а то я бы ведь давно Бог знает куда угодил, – а он… а он… – У дьякона закипали в груди слезы, и он, всхлипывая, заканчивал: – А он целый год со мной на политике. Думал я попервоначалу, что донесет репортом, и этого больше всего, признаться, и боялся, но нет: никакого доноса он не сделал; а вот какую штуку придумал: молчать. За что же? за что же ты молчишь со мною? – восклицал дьякон, плачучи и обращаясь с поднятыми руками в ту сторону, где предполагал дом отца протопопа. – Это хорошо так делать, а? Хорошо это, что я по диаконству моему подхожу и говорю: благослови, отче? и руку его целуя, чувствую, что даже рука его холодна для меня? Это хорошо? На Троицын день перед великою молитвою я, может быть, какими искреннейшими слезами обливаясь, прошу: благослови?.. А у него и тут нет умиления, и тут он не мог простить? “Буди благословен”, – говорит. Да что мне эта форменность,

когда все это без ласковости! Просил прощения, – говорит: “это детей прощают, а ты уж не ребенок”… Ну, что вы хотите с этаким характером жестоким сделать?

– Заслужи, – замечал отец Захария.

– Да чем же я, отец Захария, заслужу?

– Примерным поведением заслужи.

– Да каким же примерным поведением, когда он совсем не замечает меня, окроме службы? Я вижу, он скорбит, вижу, он в задумчивости. Боже мой! – говорю я себе: чего он в таком изумлении? Чего он скорбит? А особенно, когда вздумаю, что, может быть, это он и обо мне скорбит… Потому что ведь там как он на меня ни сердись, а ведь он, – я знаю, простите меня, врет, он жалеет меня и любит… Боже мой, что мне с моею суетностью делать! Этакой человек, министр юстиции, – скорбен, а я смеюсь, испиваю и даже живу и забываю это!.. – Дьякон оборачивался в другую сторону и, стуча, кулаком по ладони, выговаривал: – Ну, просвирнин сын, тебе это так не пройдет! Будь я взаправду тогда Каин, а не дьякон, если только я этого гнусника, этого учителя Варнавку публично не исковеркаю!

Учителю Варнаве Омнепотенскому угрожала самая решительная опасность от дьякона Ахиллы, и опасность эта была тем ближе, чем чаще и чаще дьякон Ахилла начинал чувствовать томление по своему потерянному раю, по утраченному благорасположению к себе отца Савелия. Как друзья учителя Омнепотенского, так и его льстивые недруги, на-

смешники и интриганы, все воедино давно ему советовали, в видах спасения себя от угрожающей ему опасности, просить начальство о перемещении его на службу в другой город, где нету дьякона Ахиллы и куда Ахилле забежать было бы как можно несподручнее. Но Омнепотенскому решительно невозможно было оставлять Старого Города, потому что здесь были посеяны им некие благие семена, всхода которых ожидал и он, и ближайший друг его, жена акцизного чиновника Дарья Николаевна Безюкина. Бежать отсюда Варнаве Омнепотенскому значило бы обличить непростительную трусость и оказать столь преступное равнодушие к великим интересам, которыми озабочивались и Бизюкина, и Омнепотенский, что мысль об оставлении Омнепотенским Старого Города представлялась обоим им совершенною нелепостью и делом в гражданском отношении бесчестнейшим.

Так, по этим вполне достойным и серьезным соображениям, длинный, хилый и плюгавый сын никитской просвирни Омнепотенской, уездный учитель Варнавка Омнепотенский или, как его в насмешку звали, “Омнеамеамекумпортинский” оставался жить в Старом Городе под беспрестанным страхом мщения дьякона Ахиллы. Но справедливость требует сказать, что ни сам Варшава, ни Бизюкина не сознавали всей опасности, которой подвергался учитель, и не замечали ни примет, ни знамений, по которым можно было предвидеть, что, как говорил Ахилла, “ижица уже к Варнаве ближится”.

Наконец ударил час, с которого должны были начаться кара Варнавы Омнепотенского рукою Ахиллы и, совершенно совпадающее с сим событием, примирение Ахиллы с протоиереем Туберозовым.

История эта имеет несколько пунктов, которые приходится пересказать по порядку.

Но мы оставим пока в стороне все тропы и дороги, по которым Ахилла, как американский Следопыт Купера, будет выслеживать своего врага, учителя Варнавку, и прокрадемся в чистенький домик отца Туберозова. Нам нужно узнать, как и о чем сетует наш протоиерей Савелий? Может быть, его еще не совсем знает и отец Захария, и не совсем понимает причину его сетований и дьякон Ахилла; может быть, его внутри больше спрятано, чем видно его снаружи, и, может быть, есть какое-нибудь средство заглянуть в эту внутрь его, как смотрят в стеклянный улей, в котором пчела строит свой дивный сот с воском на освещение лица Божия и с медом на усладу уст человека. Наденем легкие сандалии, чтобы шаги ног наших не встревожили задумчивого и грустного протопопа; положим сказочные шапки-невидимки на головы наши, дабы самодовольный зрак наш не смущал серьезного взгляда чинного хозяина, и будем иметь уши наши отверзтыми ко всему, что от него услышим, зане, может быть, и без того уже велико преступление наше, что мы не знаем доселе, что гнетет и мучит душу нашего старого попа.

Мы идем на разрешение себе загадки: в самом ли деле

один безрассудный поступок Ахиллы может так сильно терзать Туберозова, что он целый год не может ни Ахиллу простить, ни сам с собою примириться, а в минуты сугубого уединения, которого тщательно ищет, становится по углам и в тишине шепчет перед образом Спаса: “Прискорбна душа моя, Боже мой! Вонми Блаже в помощь мою и помощи ми потщися!”

Тихо! Неимущие страха божия, займите его у имущего, и войдем в дом попа Туберозова с тем благоговением, с каким входили в него люди, перед которыми Савелий отворял свои двери с словом ласки и привета.

IV

Над Старым Городом спускается вечер. Нагорная Батавина сторона, где возвышается острый купол собора, купается в розовом свете; тихое Заречье утонуло уже в тенистой мгле. По плавучему мосту, соединяющему обе стороны города, изредка проходят одинокие фигуры. Они идут спешно: ночь в тихом городе начинается рано и рано собирает всех в гнезда свои и на пепелища свои. Прокатила почтовая телега, звеня колокольчиком и перебирая, как клавиши, мостовины, и опять все замерло. На соборном кресте еще играет красный луч заходящего солнца, но и он все меркнет, меркнет и наконец засверкал тонкою стрелкою, сократился в алмазную точку, еще раз сверкнул и исчез метеором. Надвигается тьма; из далеких лесов спешно разносится благотворная свежесть. В воздухе тихо, как в опрокинутой урне надгробной. На острове, который образуют рукава Турицы и на котором синеет буйная бакша чудака Пизонского, называемого ото всех “дядей Котином”, раздаются клики:

– Малвоша! Малвоша! Слезь, деточка, с дерева! Покажись, моя крошечка!

Клики эти так слышны, как будто они раздаются над ухом.

Вот оттуда же несется детский хохот, плеск воды, потом топот босых ребячьих ног по мостовинам, звонкий лай игривой собаки, и все это кажется так близко, что мать протопо-

пица, сидевшая во все это время у открытого окошка, вскочила и выставила вперед руки. Ей показалось, что хохочущее дитя сейчас же упадает к ней в колени.

Протопопица оглянулась и тут только заметила, что на дворе ночь. Она зажгла свечу, кликнула небольшую лет двенадцати девочку и спросила ее:

– Ты, Феклинька, не знаешь, где это наш отец протопоп засиделся?

– Он, матушка, у городничего в шашки играет.

– А, у городничего. Ну, Бог с ним, когда у городничего. Давай мы ему, Феклинька, постель постелем, пока он у городничего.

Феклинька принесла из соседней комнаты в залу две подушки, простыню и стеганое желтое одеяло; а мать протопопица внесла белый пикейный шлафор и большой пунсовый фуляр.

Постель была постлана отцу протопопу на большом, довольно твердом диване из карельской березы. Изголовье было открыто; белый шлафор раскинут по креслу, в ногах, на шлафор был положен пунцовый фуляр. Затем мать протопопица, вдвоем с Феклинькой, придвинула к головам устроенной постели отца Савелия тяжелый круглый стол на массивной тумбе, поставила на этот стол свечу, стакан воды, блюдце с толченым сахаром и колокольчик. Все эти приготовления и вся тщательность, с которою они исполнялись, свидетельствовали о крайнем внимании протопопицы ко всем при-

вычкам мужа. Только устроив все как следовало, она успокоилась и снова погасила свечу и села одиноко к окошечку.

Отец протопоп, давно невеселый, нынче особенно хандрил целый день. К тому же отец Савелий сегодня устал: он ездил нынче на поля слобожан и служил там молебен по случаю стоящей засухи. После обеда он немножко вздремнул и пошел пройтись, но как оказалось, зашел к городничему, и теперь его ждут.

Тишина ненарушимая. Но вот с нагорья начинает слышаться чье-то довольно мелодическое пение. Мать протопопица прислушивается. Это поет дьякон Ахилла: она хорошо узнает его голос. Он сходит с Батавиной горы и распевает:

Ночною темнотою
Покрылись небеса;
Все люди для покою
Сомкнули очеса.

Дьякон спустился с горы и, идучи по мосту, продолжает:

Внезапно постучался
Мне в двери Купидон;
Приятный перервался
Вначале самый сон.

Мать протопопица слушает с удовольствием пение Ахиллы, потому что она любит и его самого за то, что он любит ее

мужа, и любит его пение, потому что он прелестно поет своего “Купидона”. Она замечталась и не слышит, как дьякон взошел на берег и все приближается и приближается, и наконец под самым ее окошечком вдруг хватил с декламациею:

Кто так стучится смело?
Сквозь двери я спросил.

Мечтавшая протопопица тихо вскрикнула: ах! и отскочила вглубь покоя.

Дьякон, услыхав это восклицание, перестал петь и остановился.

– А вы, Наталья Николаевна, еще не започивали? – отнесся он к протопопице и с этими словами, схватясь руками за подоконник, вспрыгнул на карнизец фундамента и воскликнул: – А у нас мир!

– Что? – переспросила его протопопица.

– Мир, – повторил диакон, – мир. – Ахилла повел по воздуху рукою и добавил: – отец протопоп… конец…

– Что ты говоришь: какой конец? – запытала вдруг встревоженная этим словом протопопица.

– Конец… со мною всему конец… Отныне мир и его благоволение. Ныне которое число? Ныне четвертое июня 1864 года: вы так и запишите: “4 июня 1864 года мир и благоволение”, потому что мир всем и Варнавке учителю шабаш.

– Что это ты лепечешь, дьякон? Дохни-ка мне?

– Дохнуть? – извольте, дохну: я окромя чаю ничего не пил, а мир сделал с отцом протопопом. То есть еще не сделал хотя, но близко того нахожусь, потому что Варнавку учителя обработать мне – что же это стоит, когда я на то указание имею?

– Ты это что-то все врешь… вином от тебя не пахнет, а врешь?

– Вру! А вот вы скоро увидите, как я вру. Сегодня 4-е июня 1864 года, – сегодня преподобного Мефодия Песношского, вот вы это себе и запишите, что от этого дня у нас распочнется. – Дьякон еще приподнялся на локти и, втиснувшись по пояс в комнату, зашептал: – Варнавка учитель сварил в трех корчагах человека.

– Дьякон, ты врешь, – сказала протопопица.

– Он сварил в трех золяных корчагах человека, – продолжал, не обращая на нее внимания, дьякон, – но это ему было дозволено, от городничего и от лекаря. Но теперь он этого человека всячески мучит.

– Дьякон, ты врешь это все!

– Нет-с, не вру я, не вру, – зачастил дьякон и, неистово замотав головою, начал вырубать слово от слова чаще; – он сварил его с разрешения начальства и теперь его мучит, и тот стонет и смущает его мать просвирню, и я все это разузнал и сказал у городничего отцу протопопу, и отец протопоп городничего того-с, пробире-муа ему задали, и городничий сказал мне: дьякон! возьми солдат и положи этому конец; но

я сказал, что я и сам солдат, и с завташнего дня, ваше преподобие, честная протопопица Наталья Николаевна, вы будете видеть, как дьякон Ахилла начнет казнить своего врага и врага Божия, учителя Варнавку, который богохульствует, смущает людей живых, мучит беспощадно мертвых и ввел меня в озорство против отца протопопа. Да-с, сегодня 4-е июня 1864 года, память преподобного Мефодия Песношского, и вы это запишите, потому что…

Но на этих словах поток красноречия Ахиллы оборвался, потому что в это время как будто послышался издалека с горы кашель отца протопопа.

– Грядет поп велий Савелий! Спокойной ночи вам, матушка! – воскликнул быстро, заслышав этот голос, Ахилла и соскочил с фундамента на землю. Здесь он обернулся на минуту к нагорной стороне города, где жил учитель Омнепотенский, и проговорил: – Спи, брат, Варнава Васильевич, спи, дуроломище, – завтра узнаешь, что мы с твоею матерью над твоим сваренным человеком устроили!

С этим дьякон пошел своею дорогою, скрывшись во мраке ночи, и оставил стоящую у своего окна протопопицу не только во мраке неведения насчет всего того, чем он грозился учителю Омнепотенскому, но даже в совершенном хаосе насчет всего, что он наговорил здесь. В этом же хаосе, в этих же недоумениях останемся пока с матерью протопопицею и мы, и чтобы нас не смущала нескладность и неясность речей Ахиллы, поступим, как поступила Наталья Николаевна: за-

будем на время об Ахилле и о его враге, которому он изготовился мстить, и станем ждать отца протопопа. Нам нужно провести с ним всю ночь в его чинном доме, и зато к утру 5-го июня мы будем знать и значение слов Ахиллы и самого протопопа так близко, как его еще никто до сего дня не знает.

Вот будто где-то за рекою послышался его голос. Ему отвечает другой голос.

– С кем бы это он разговаривал? – отгадывала мать протопопица, стараясь прозреть густую темень, в которой слились даже все очертания заречных построек и только чуть темнела неясною глыбою масса собора.

Рассмотреть ничего невозможно; не более можно и расслушать. Несмотря на то, что звуки в тихом воздухе ночи разносятся очень отчетливо и далеко, мать протопопица не улавливает ни одного слова. Она только может разобрать, что разговор идет над рекою: что отец протопоп, вероятно, стоит на мосту и говорит оттуда с Пизонским, стоящим на берегу своего острова.

Протопопица сидит у окошечка час, сидит полтора и наконец дремлет. Ей снится Ахилла: он несет какого-то сваренного человека, – все это как-то не вяжется, как-то нескладно, словно только что конченный рассказ самого Ахиллы. Но вот дремлющей ей скрипнули крылечные ступени, и отец Савелий, в камилавке на голове и в руках с тою самою тростью, на которой было написано: “жезл Ааронов расцвел”, вступил в храмину свою.

Протопипица встала и засветила вдруг две свечки, и из-под обеих посмотрела на вошедшего мужа. Он был ласков с женой, тихо поцеловал ее в лоб, тихо снял рясу, надел свой белый шлафор, подвязал шею пунцовым фуляром и сел у окошечка.

Протопопица совершенно забыла про все, что ей за час перед сим наговорил дьякон: ей казалось теперь, что она все это видела во сне, и потому она ни о чем не спросила мужа. Она пригласила его в смежную маленькую продолговатую комнатку, которая служила ей спальнею и где была приготовлена для отца Савелия его вечерняя закуска. Отец Савелий сел к столику, съел два сваренные для него всмятку яйца и, помолясь, начал прощаться на ночь с женою. Протопопица сама никогда ничего не ужинала, потому что иначе ей снились страшные сны. Она обыкновенно только сидела перед мужем, пока он закусывал, и оказывала ему небольшие услуги. Потом они оба вставали, молились перед образом и непосредственно за тем оба начинали крестить один другого. Это взаимное благословение друг друга на сон грядущий они производили всегда оба одновременно, и притом с такою ловкостью и быстротою, что нельзя было надивиться, как их быстро мелькавшие одна мимо другой руки не хлопнут одна по другой и одна за другую не зацепятся.

Получив взаимные благословения, супруги напутствовали друг друга и взаимным поцелуем, причем отец протопоп целовал свою низенькую жену в лоб, а она его в сердце. За-

тем они расставались: отец протопоп уходил в свою гостиную и, поправив собственными руками свое изголовье, садился в одном белье по-турецки на диван и выкуривал трубку, а потом предавался покою. Точто так же пришел он в свою комнату и сегодня, и там же выкурил свою трубку, но не лег в постель, а встал, притворил и тихо запер на крючок дверь в женину спальню. Потом он взял к себе на колена маленькую кучерявую коричневую собачку и стал щекотать ее шейку.

– Отец Савелий, ты чего-то сомневаешься? – спросила через стенку протопопица, хорошо изучившая все мельчайшие привычки мужа.

– Нет, друг, я ни в чем не сомневаюсь! – отвечал, вздохнув, протопоп и, положив собачку в ноги на свою постель, прикрыл ее одеялом.

– Тебе не подать ли, отец протопоп, на ночь чистый платочек? – осведомилась, приложив свой курносый носик к створу двери, протопопица Наталья Николавна.

– Платочек? – да ведь ты мне в субботу дала платочек?

– Ну так что ж, что в субботу?.. Да отопритесь вы в самом деле, отец Савелий! что это вы еще за моду такую взяли, чтоб запираться?

Попадья принесла чистый фуляровый платок, и они с мужем снова начали крестить друг друга и снова расстались.

Дверь теперь осталась открытою.

Отцу протопопу не спалось. Он долго ходил по своей комнате в своем белом пикейном шлафоре и пунцовом фуляре

под шеей. В нем как бы совершалась некая борьба, как бы кипела некоторая священная тревога. При всем внешнем достоинстве его манер и движений, он ходил шагами неровными, то несколько учащая их как бы хотел куда-то броситься, то замедляя их, и наконец вовсе останавливаясь и задумываясь. Это хождение продолжалось с добрый час, и наконец отец Савелий подошел к небольшому красному шкафику, утвержденному на высоком комоде с выгнутою доскою. Из этого шкафа он достал Евгениевский календарь, переплетенный в толстый синий демикотон с желтым сафьянным корешком, положил эту книгу на круглом столике, стоявшем у его постели, и зажег перед собою две экономические свечки.

– Будешь читать, верно? – спросил в эту минуту из-за стены голос заботливой протопопицы.

– Да, я, друг Наташа, почитаю немножко, – отвечал отец Туберозов, – одолжи меня, усни, пожалуй, усни.

– Я усну, – отвечала протопопица.

– Да, усни; – и с этими словами отец протопоп, оседлав свой гордый римский нос большими очками, начал медленно перелистывать свою старую книгу.

Он не читал, а только перелистывал эту книгу, и притом останавливался не на том, что в ней было напечатано, а лишь просматривал его собственною рукою исписанные прокладные страницы.

Все эти записи были сделаны разновременно и отличались нередко весьма большою оригинальностью и разнообразием.

Все они, по-видимому, воскрешали перед отцом протопопом целый мир воспоминаний, к которым старший поп Старого Города любил от времени до времени обращаться.

Демикотоновая книга протопопа Туберозова

Сегодня Туберозов просматривал свой календарь с самой первой прокладной страницы, на которой было написано: “По рукоположении меня *4-го февраля 1831 года* преосвященным Гавриилом во иерея, получил я от него сию книгу в подарок за мое доброе прохождение семинарских наук и за поведение”.

За первою надписью, совершенною в первый день иерейства Туберозова, была вторая: “Проповедывал впервые в соборе после архиерейского служения. Темою проповеди избрал текст притчи о сыновьях вертоградаря: “Один сказал: *не пойду*, и пошел, а другой отвечал: *пойду*, и не пошел”. Свел сие к благим действиям и благим намерениям, позволяя себе некоторые намеки на служащих, присягающих и о присяге своей небрегущих. Говорил плавно и естественно. Владыка одобрили и после обедни поставили отцу ректору на замечание, отчего в семинарии мне не дана была фамилия *Остромысленский*; “но, впрочем, присовокупили владыко, и сия фамилия Туберозов для проповедника весьма благоприличная”. А впрочем, впоследствии призывал меня владыко, дабы в проповедях к жизни особого прямого отношения не

делал, но за прошлое строго не укорял.

1832 года, декабря 18-го, – гласила надпись, – был призван высокопреосвященным и получил назначение в Старый Город, где нарочито силен раскол. Указано противодействовать оному всячески.

1833 года, в восьмой день февраля, выехал с попадьею из Благодухова в Старый Город и прибыл сюда 12 числа о заутрени. На дороге чуть нас не съела волчья свадьба. В церкви застал нестроение. Раскол силен.

Осмотревшись, нахожу, что противодействие расколу точка в точку, как по консисторской инструкции, так и по владычнему указанию, на деле немыслимо, и о сем писал в консисторию и получил выговор. Писано *17-го апреля*".

Протоиерей пропустил несколько заметок и остановился опять на следующей: "Получив замечание о недоставлении доносов, оправдывался, что в расколе делается все, что уже давно всем известно, про что и писать нечего, и при сем добавил в репорте, что наиглавнее всего, что церковное духовенство находится в крайней бедности и того для, по человеческой слабости, не противудейственно подкупам и само потворствует расколу. Заключил, что не с иного чего надо начать, как с изъятия духовенства из-под тяжкой зависимости и соблазнов, зане люди они и ничто человеческое им не чуждо. За сей донос получил строжайший выговор и замечание и вызван к личному объяснению".

Ниже, через несколько записей, значилось: "Был по делам

в губернии и, представляясь владыке, докладывал о бедности причтов. Владыко очень о сем соболезновали; но заметили, что и сам Господь наш не имел где головы восклонить, а к сему учить не уставал. Советовал мне, дабы рекомендовать духовным читать книгу “О подражании Христу”. На сие ничего его преосвященству не возражал, да и всуе было бы возражать, потому как и книги той духовному нищенству нашему достать негде.

Политично за вечерним столом у отца ключаря еще раз заводил речь о сем же предмете с отцом благочинным и с секретарем консистории; однако сии речи мои обращены в шутку. Секретарь с усмешкой сказал, что “бедному удобнее в царствие Божие внити”, что мы и без его благородия знали; а отец ключарь при сем рассказали небезынтересный анекдот об одном академическом студенте, который, будучи в мирском звании, на вопрос владыки, имеет ли он какое состояние? ответствовал: “Имею, ваше преосвященство, и движимое, и недвижимое”. – “Что же такое у тебя есть движимое?” – вопросил его владыко, видя заметную мизерность его костюма. – “А движимое у меня – дом в селе”, – ответствовал вопрошаемый. – “Как так – дом движимое?” – “А так, что как ветер подует, то он весь и движется”. Владыке ответ сей весьма своеобразным показался, и он, еще более любопытствуя, вопросил: “А что же ты своею недвижимостью нарицаешь?” – “А недвижимость моя, – отвечал студент, – матушка моя, дьячиха, да наша коровка бурая, кои

обе ног не двигали, когда отбывал из дому, – одна от старости, другая же от бескормицы". Немало сему все мы смеялись, хотя я, впрочем, находил в сем наиболее достойного горького плача трагического, нежели комедийной веселости. Начинаю замечать во всех значительную смешливость и легкомыслие, в коих доброго не предусматриваю.

Житие мое иждиваю блудно и срамно в сне и в ядении. Расколу не могу оказывать противудействий нималым, ибо всеми связан, и причтом полуголодным, и исправником дуже сытым. Негодую, зачем я послан: проповедывать – да некому; учить – да не слушают. Проповедует исправник меня гораздо лучше, потому что у него к сему сность есть, а от меня доносов требуют; к чему сии, да и сан мой не позволяет. Представлял репортом о дозволении иметь на Пасхе словопрение с раскольниками, – в чем и отказано. Вдобавок к форменной бумаге секретарь, смеючись, отписал приватно, что если скука одолевает, то чтобы к ним проехался. Нет уж, покорнейше спасибо, а не прогневайтесь на здоровье. И без того мой хитон обличает мя, яко несть брачен, да и жена в одной исподнице гуляет. Следовало бы как ни на есть хоша поизряднее примундириться, потому что люди у нас руки целуют, а примундироваться еще пока ровно не на что; но всего, что противнее, это наглый тон и бесстыдный, с которым говорится: "а не хочешь ли, поп, в консисторию подоиться?" – Нет, друже, не хочу, не хочу.

13 окт. 1835 г. Читал книгу об обличении раскола. Все

в ней есть, да одного нет, что раскольники *блюдут свое заблуждение*, а мы своим *правым путем небрежем* и, как младенцы, идем оным играючи; а сие, мню, яко важнейшее.

Сегодня утром, *18-го марта сего 1836 года*, попадья Наталья Николаевна намекнула мне, что она чувствует себя непорожнею. Подай, Господи, нам сию радость. Ожидать 9-го ноября.

9-го мая на день св. Николая Угодника происходило разрушение деевской часовни. Зрелище было страшное и непристойное, и к сему же, как на зло, железный крест с купольного фонаря сорвался и повис на цепях, а будучи понуждаем баграми к падению, упал внезапно и проломил пожарному солдату голову, отчего тот здесь же и помер. Вечером к молельной собрался народ, и их, и наш церковный, и все вместе много и горестно плакали.

10 мая. Были большие со стороны начальства ошибки. Перед полунощью прошел слух, что народ вынес на камень лампаду и начал молиться над разбитой молельной. Все мы собрались и видим, точно идет моление, и лампада горит в руках у старца и не потухает. Городничий велел подвезти пожарные трубы и из них народ окачивать. Было сие весьма необдуманно и, скажу даже, глупо, ибо народ зажег свечи и пошел по домам, воспевая “мучителя фараона” и крича: “Господь поборает нам и ветер свещей не гасит”. Говорил городничему, сколь неосторожно сие его распоряжение; но ему что? Ему лишь бы у немца выслужиться.

12 мая. Франтовство одолело: взял в долг у предводительской экономки два шелковые платья предводительшины и послал их в город окрасить в масока цвет, как у протодьякона, и сошью себе ряску шелковую. Невозможно без этой аккуратности, потому что становлюсь повсюду вхож в дворянские дома, а унижать себя нисколько не намерен.

17-го мая попадья Наталья Николаевна намекнула, что она ошиблась.

20-го июня. По донесению городничего, за нехождение со крестом о Пасхе в дома раскольников, был снова вызван в губернию. Изложил сие дело владыке обстоятельно, что сие учинил не по нерадению, ибо то даже в карманный ущерб самому себе учинено было; но сделал сие для того, дабы раскольники чувствовали, что чести моего с причтом посещения лишаются. Владыко задумались и потом объяснение мое приняли; но царь жалует, да пес разжалывает. Так как дело сие касалось и гражданской власти, то дабы и там конец оному положить, владыко послали меня объяснить сие губернатору.

Оле мне грешному, что я здесь вытерпел!

Оле вам, братия моя, искренний и други, за срамоту мою и унижение! Губернатор, яко немец, соблюдая и Лютера амбицию, попа русского к себе не допустил, а отрядил меня для собеседования о сем к правителю. Сей же правитель, поляк, не по владычнему дело сие рассмотреть изволил, а напустился на меня с криком и рыканием, говоря, что я потворствую

расколу и сопротивляюсь воле моего Государя. Оле тебе, ляше прокаженный, и ты с твоею прожженною совестию меня сопротивлением Царю моему упрекаешь? Однако ушел молча, памятуя хохлацкую пословицу: “скачи враже, як пан каже”. Все сие было как бы для обновления моей шелковой рясы, которая, при сем скажу, сделана весьма исправно и едва только при солнце чуть отменяет, что из разных материй.

Марта. Сегодня в субботу страстную приходили причетники и дьякон Прохор Преклонский просить, дабы неотменно идти со крестом на Пасхе и по домам раскольников, ибо несоблюдение сего им в ущерб. Отдал им из своих денег сорок рублей, но не пошел на сей срам, дабы принимать деньги у мужичьих ворот, как подаяние. Вот теперь уже рясу свою вижу уже за глупость, мог бы и без нее обойтись, и было бы что причту раздать. Но думалось: “нельзя же комиссару и без штанов”.

10-го июля 1837 года был осрамлен до слез и до рыдания. Опять был на меня донос, и опять я предстоял перед оным губернаторским правителем за невхождение со крестом во дворы раскольников. Донос сделан дьяконом Преклонским и причетом. Как перенести сию низкость и неблагородство? Мыслитель и администратор! сложи в просвещенном уме своем, из чего жизнь попа русского сочетавается. Возвращаясь домой, целую дорогу сетовал на себя, что не пошел в академию. Оттоль поступил бы в монашество, как другие; был бы с летами архимандритом, архиереем; ездил бы в карете,

сам бы командовал, а не мною бы командовали. Суетою этою злобно себя тешил, упорно воображая себя архиереем, но приехав домой, был нежно обласкан попадьею и возблагодарил Бога, тако устроившего, яко же есть.

11-го июля. Был я осрамлен в губернии; но мало в сравнении перед тем, сколь дома сегодня остыжен, как школьник. Вчера только вписал я мои нотатки о моих скорбях и недовольствах, а сегодня, в день Ольги равноапостольной, пошел служить раннюю и увидел посреди храма стоящего бакшевника Константина Пизонского, а возле него двух его сирот, Глашу и Олиньку, и сию последнюю в ситцевом платьице. Вспомянул, что она имянинница. Взглядывал неоднократно на Пизонского… Какою светлотою и какою радостью сияет лицо его! По обедне выслал с дьячком Олиньке просфору, и кончилось сие слезами. По отпусте выхожу, а Пизонский с детьми на коленах у южных врат и со слезами руки мои начали целовать; а сам Пизонский лепечет: “За радость, отец, благодарим, за радость!” А сколь велика эта радость? – просфора, сироте-имянинице поданная. – Я роптал за уколы гордости моей, а сей нищий, в плетушке за плечами утащивший сирот, коих доля была быть ослепленными нищею Пустырихою, счастлив от безмерия добра своего. Сколь глупа в самом деле вся скорбь моя.

6-го августа, день Преображения Господня. Что это за прелестная такая моя попадья Наталья Николавна! Я ей говорил как-то, сколь меня трогает нежность беднейшего Пи-

зонского о детях, и она тотчас поняла или отгадала мысль мою и жаждание: обняла меня и с румянцем стыдливости, столь ей идущим, сказала: “Погоди, отец протопоп… может, и своих Господь детей даст нам”. По обычаю, думая, что сии надежды суетны, я ее о сем не спрашивал, и так; оно и вышло. Сегодня же я говорил слово к убеждению в. необходимости всегдашнего себя преображения, дабы силу иметь во всех борьбах коваться, как металл некий крепкий и ковкий, а не плющиться, как низменная глина, иссыхая сохраняющая отпечаток последней ноги, которая на нее наступила. Говоря сие, увлекся я некоею импровизациею и указал народу на Пизонского. Хотя я по имени его и не назвал, но сказал о нем, как о некоем посреди нас стоящем, который, придя к нам нагий и всеми глупцами осмеиваемый за убожество свое, не только сам не погиб, но и величайшее из дел человеческих сделал, спасая и воспитывая двух погибавших неоперенных птенцов. Я сказал, сколь сие сладко – согревать беззащитное тело детей и насаждать души их семенами благости. Не знаю уже, отчего, выговорив это, я сам почувствовал мои ресницы омоченными и увидал, что и многие из слушателей стали отирать глаза свои и искать очами по церкви некоего, его же разумевала душа моя, искать Котина нищего, Котина, сирых питателя. И видя, что его нету, я ощутил как бы некую священную острую боль и задыхание, и сказал: “Нет его; нет его, братия, меж нами! ибо ему не нужно это слабое слово мое, потому что слово любве всякой давно ог-

ненным перстом Божиим начертано в смиренном сердце его. Прошу вас, – сказал я с поклоном, – все вы, здесь собравшиеся достопочтенные и именитые сограждане, простите мне, что не венчанного мученика, не стратига превознесенного воспомнил я вам в нашей беседе в образ силы и в подражание, но единого от меньших, и если что смутит вас от сего, то отнесите сие к моей малости, зане грешный поп ваш Савелий, назирая сего малого, не раз чувствует, что сам он перед ним не иерей Бога вышнего, а в ризах сих, покрывающих мое недостоинство, – гроб, вапною раскрашенной повапленный. Аминь".

Не знаю, что заключалося умного и красноречивого в простых словах сих, сказанных мною совершенно экспромту, но могу сказать, что богомольцы мои нечто из сего вняли, и на мою руку, когда я ее подавал при отпусте, пала не одна слеза столь теплая, что и у меня же нечто подобное из глаз выдавило.

Но это не все.

Как бы в некую награду за искреннее слово мое об отраде пещись не токмо о своих, но и о чужих детях, Вездесущий и Всеисполняющий взял и мое недостоинство под свою десницу: Он открыл мне днесь всю истинную цену сокровища, которым, по безмерным щедротам его, я владею, и велел мне еще преобразиться в наидовольнейшего судьбою своею человека. Только что прихожу домой с пятком освященных по-

сле обедни яблок Доброго Крестьянина,[1] как на пороге ожидает меня встреча с некоторою старой знакомою. Попадья моя Наталья Николаевна выкралась тихо из церкви, и готовила мне по обычаю дома чай и стоит стопочкой на пороге; но стоит с букетом из речной лилеи и садового левкоя. – “Ну не гнусная ли после этого ты женщина, Наталья Николаевна!” – сказал я, никогда прежде сего такого слова не говорив ей, но она поняла, что сие шуткою сказано, и обняла меня и заплакала. – Чего? – сие ее тайна, либо твоя тайна, жена добрая, не знающая, чем утешить мужа своего, а *утехи израилевой*, Вениамина малого, дать ему лишенная. Лилею речною и садовым левкоем встретили меня в этот день ее замкнутая печатью неплодства утроба и отверстое в любви и благоволении сердце.

Двое бездетные сели мы за чай, и не чай, а слезы наши растворялись нам в питие, и пали мы ниц перед образом Спаса, и много и тепло молились об утехе израилевой. Напоследи же того встали мы, и была нам как бы радость какая, как бы некий обет, шепнутый через ангела, и мы стали как дети. Но и в сем настроении Наталья Николаевна значительно меня грубияна превосходила.

– Был ли ты, отец Савелий, когда-нибудь грешен? – спросила она меня, и сим вопросом вконец меня смутила, пото-

---

[1] В курских и орловских садах, в Богом хранимой тени которых проспал свои детские годы автор этого рассказа, есть сорт очень вкусных и красивых яблок “Доброго Крестьянина”. Автор любил их и пять из них завязывает в платочек, с которым идет домой протопоп Савелий. – *Лесков*

му что я понял, какой грех моя негодящая женка у меня выпытывает.

Но она со всею скромностью и со всей этою кокетерией отвечала мне, что она говорит сие о прошлом, а не о времени священства, и что красив-то я был столько, что у них в Фатеже, когда я приехал к ней свататься, все девицы на поповке по мне вздыхали! Все сие я старался рассеять прахом, что мне и нетрудно, ибо без лжи в сем оправдание имею: – но сколь я оказался глуп, не постигая, отчего оправдания мои ее не радовали, а все более печалили.

– А вспомни лучше, – сказала она, – может быть, нет ли какого младенца… сиротки…

Понял я все, что она сказать хочет, к чему она все это вела и чего она сказать стыдится, и, вскочив с места, бросился к окну и вперил глаза мои в небесную даль, чтобы даль одна видела меня, столь превзойденного женой своей в доброте ее. Но не на то поднялась сегодня моя лилейная и левкойная роза белая и непорочная, моя подруга благоуханная и добрая!

Она поступью легкою ко мне сзади подкралась и, положив на плеча мне свои малые лапки, сказала: “Отец! вспомни! и ежели есть *оно*, пойдем и найдем его”. Это она прелюбодейное дитя мое, коего нет, возлюбила и отыскивать его хочет!

Этого я уже не снес и, закусив зубами бороду свою, пал ей в колена, как Зосима Марии, и зарыдал тем рыданием,

которому нет на свете описания.

Скажите мне, времена и народы, где, кроме святой Руси нашей, такие женщины, как моя попадья, родятся? Кто ее всему этому учил? Кто ее воспитывал, окроме Тебя, Всеблагий мой, который дал ее недостойнейшему из попов твоих, чтобы он мог переносить все…”

Здесь в дневнике отца Савелия почти целая страница залита чернилами и внизу пятна начертаны следующие строки:

“Ни пятна сего не выведу, ни тождесловия, которое в последних строках замечаю, не исправлю: пусть все так и остается, потому все, чем сия минута для меня обильна, мило мне и таковым должно и сохраниться. – Попадья моя не унялася проказничать, хотя теперь уже двенадцатый час ночи, и хотя она заобычай в это время спит, и хотя я люблю, чтобы она в это время спала, и обычно, пописав несколько, подхожу к ней спящей и спящую ее целую, и снова бодрость и силу как бы почерпаю. – Днесь я вел себя до сей поры несколько иначе. По сем дне, преображавшем меня всеми ощущениями в беспрерывное разнообразие, я столь был увлечен описанием того, что мною выше описано, что чувствовал плохую женку мою в душе моей, и поелику душа моя лобзала ее, я не вздумал ни однажды пойти к ней и поцеловать ее. – Она сие мое упущение поправила: час тому назад пришла она, положила мне на стол носовой платок чистый и, поцеловав меня, как бы и путная, удалилась. Но что же за хитрости за ней оказываются. Вдруг вижу, что мой платок как бы движется

и внезапно падает на пол. Я нагнулся, положил его снова на стол и снова занялся писанием; но платок опять упал на пол. Я его положил на колени мои, а он и оттоль падает. Тогда я его взял, да немного под чернильницу подложил, а он и оттуда убежал и даже увлек с собою и чернильницу, опрокинул ее и календарь мой сим изрядным пятном изукрасил. – Что же сие означает? – что попадья моя наипервейшая кокетка, да еще к тому и редкостная, потому что не с добрыми людьми, а с мужем кокетничает. Я уж ее сегодня вечером в этом упрекнул, когда она, улыбаючись, передо мною на окошечке сидела, и даже прогнал ее; а она какую теперь штуку приправила! – Взяла к этому платку, что мне положила, поднося его мне, потаенно прикрепила весьма длинную нитку, протянула ее под дверь к себе на постель и, лежачи на покое, платок мой у меня из-под рук изволит, шаля, подергивать. И я, толстоносый, потому это только и открыл, что с последним падением платка хохот раздался, и по полу за дверью ее босые ножонки затопотали. Напрокудила, да и плюх в постель. Пошел, целовал ее без меры и пределов, но в наказание ушел опять, чтобы занотовать себе всю прелесть жены моей под свежими чувствами.

Нет, жинка-тринка моя, хоша ты, подслушивая за дверью беседу мою с душою моею, смехом своим Сарре уподобилась, но не будет для попа твоего никакой Агари, и если ты мне не родишь моего Исаака, то не будет его вовсе. Говорю сие, хотя бы я даже и не поп был, и не христианин, а библей-

ский праотец, почитавший за стыд неплодие жены своей. Ты бо утешная моя, и я спешу к тебе наказать тебя беспокойством поцелуев моих!

7 августа. Всю ночь прошедшую не спал от избытка моего счастия и не солгу, если прибавлю, что также и Наташа немало сему бодрствованию способствовала. Словно влюбленные под Петров день солнце караулят, так и мы с нею после пятилетнего брака своего сегоднишнего солнца дождались. Призналась голубка, что она весьма часто не спит, а только спящею притворяется, да и во многом другом призналася. Призналася, что вчера в церкви, слушая мое слово, которое ей почему-то столь много понравилось, она дала обет идти пешком в Киев, если только почувствует себя в тягости. Я этого не одобрил, потому что таковой переход беременной не совсем в силу; но обет исполнить ей разрешил, потому что сам тогда с нею пойду, и где она уставать станет, понесу ее. Делали сему опыт: я долго носил ее на руках моих по саду, мечтая, как бы она беременная и я ее охраняю, дабы не случилось с ней от ходьбы какого несчастия. Столь этою мыслью желанною увлекаюсь, что увидев, как Наташа, шаля, села на качели, что кухаркина девчонка под яблонью подцепила, снял даже качели, чтобы сего вперед не случилося, и на верх яблони закинул с величайшим опасением, чему Наташа очень много смеялася. Однако хотя жизнь моя и не изобилует вещами, тщательной секретности требующими, но все-таки хорошо, что хозяин домика нашего обнес свой садик

добрым заборцем, а Господь обростил этот забор густою малиною, а то, пожалуй, иной бы сказал, что попа Савелья не грех подчас назвать скоморохом или даже, просто сказать, романсующим, влюбленным шарлатаном.

9 августа. Об чем моя жена с дьяконовым сыном ритором разговор сегодня вела и даже спор? Это поистине и казус, и комедия. Спорили о том: "*кто всех умнее?*" Ритор говорит, что всех умнее был Соломон, а моя попадья говорит, что *я*, то есть *я, я*– фигура моя! Ну, скажите, сделайте ваше одолжение, что на свете бывает! Я отдыхал после обеда и, проснувшись, все это слышал. Оный ритор подкрепляет свое мнение словами писания, что "Соломон бе мудрейший из всех на земли сущих", а моя благоверная: "Нечего, говорит, этого вашего *бе*, да *рече*, да *пече*: это, говорит, еще тогда было писано, когда Савелия на свете не было". Слушавший же споры их никитский священник отец Захария завершил все сие, подтвердив слова жены моей, что "это правда", то есть правда в рассуждении того, что меня тогда не было. Итак, вышли все сии три критика, как есть, правы. Неправ вышел один я, к которому все их критические мнения поступили на антикритику: впервые огорчил я мою Наташу, отвергнув ее мнение, и на вопрос ее, кто меня умнее? – отвечал, что *она*. Наиотчаяннейший отпор в сем получил, каким только истина одна отвергаться может: "умные, – говорит, – обо всем рассуждают, а я ни о чем судить не могу; отчего же это?" На сие я тихо тронул ее за ее керпатенький нос и от-

вечал: “оттого, что у тебя вместо строптивого носа сия смиренная пуговица посажена”. Но, однако, она и сие поняла, что я хотел этим высказать.

10 августа утром. Пришла мне какая мысль сегодня в постели? Рецепт хочу некий издать для несчастливых пар, как всеобщего звания, так и наипаче духовных, поелику нам домашнее счастие наипаче необходимейшее. Говорят иносказательно, что наилучшее, чтобы женщина ходила с водою за мужчиною, ходящим с огнем, то есть он с пылкостью – она с кротостью. Все это не ясно; а я, глядя на себя с Натальей Николаевной, решаюсь вывесть, что наивернейшее – пусть друга друга считают умнее друг друга, и оба тогда будут один другого умней. “Друг, друг друга”! Эко, как выражаюсь! Но, впрочем, настоящему мечтателю так и подобает говорить без толку.

15 авг. Успение Пресвятыя Богородицы. Однако, пока я женою моей восторгался, я и не заметил, что посеял против себя некоторое неудовольствие во всем городе. Напрасно я сказал по поводу своей Преображенской проповеди, что “толико всего из этого и вышло”. Богомольцы мои – не все, а некоторые, конечно, и впереди всех почтмейстерша Тимонова – обиделись, что я унизил их воспоминанием имени Пизонского. Но это вздор умов вздорных и пустых! Все это на самолюбиях их благородий, как раны на песьей шкуре, – так и присохнет.

3 сентября. Скажите, куда дело это играет? Еще этой

неосторожности не конец! Из консистории получен запрос: действительно ли я говорил импровизациею проповедь с указанием на живое лицо? Ах, сколь у нас везде всего живого боятся! Что ж, я так и отвечал, что говорил, и говорил именно вот как и вот что. Думаю, не повесят же меня за это и головы не снимут.

20 октября. Всеконечно правда, что головы не снимут, но рот заткнуть могут, и сделать сего не преминули. 15-го же сентября был вызван для объяснения. Одна спешность сия сама по себе уже не много доброго предвещала, ибо на добро у нас не торопятся; но я ехал храбро. Храбрость сия была охлаждена сначала тридцатишестидневным ожиданием сего объяснения, а потом приказанием все, что вперед пожелаю сказать, присылать предварительно цензору Троадию. Этого никогда не будет, и зато я буду нем, как рыба. Прости, Вседержитель, мою гордыню, но я не могу с холодностью бесстрастной совершать дела проповеди. Я нечто ощущаю свыше на меня сходящее, когда любимый дар мой ищет действования; некое, позволю себе сказать, священное беспокойство овладевает душою моею, я чувствую трепет, и слово падает из уст моих, как угль горящий. А они требуют от меня, чтобы я риторические упражнения делал и сими отцу Троадию удовольствие доставлял чувствовать, что в дни наши не умнейший слабейшего в разуме наказует, а обратно, дабы сим уму и чувству человеческому поругаться.

Нет; сомкнитеся, мои нельстивые уста, и смолкни навсе-

гда, мое бесхитростное слово!

23 ноября. Однако не могу сказать, чтобы жизнь моя была уже совсем обижена разнообразием. Напротив, все идет вперемежку, так что даже и интерес ни на минуту не ослабевает: то оболгут добрые люди, то начальство потреплет; то Троадию скорбноглавому в науку назначут; то увлекусь ласками попадьи моей, то замечтаюсь до самолюбия, а время в сем все идет да идет и к смерти все ближе да ближе. Еще не все! Еще не все последствия моей злополучной Преображенской проповеди совершились. У нас в восьмнадцати верстах от города, на берегу нашей же реки Турицы, в обширном селе Плодомасове, живет владелица сего села, боярыня Марфа Андреевна Плодомасова. Признаков жизни ее, впрочем, издавна никаких не замечается, а известно только по преданиям, что она женщина духа немалого. Она и великой Императрице Екатерине знаема была, и Александр Император находил необременительною для себя ее беседу; а наиболее всего известна она в народе тем, как она в молодых летах своих одна с Пугачевым сражалась и нашла, как себя от этого мерзкого зверя защитить. Еще же о чем ежели на ее счет вспоминают, то это еще повторение о ней различных оригинальных анекдотов о ее свиданиях с посещавшими ее губернаторами, чиновниками, а также в двенадцатом году с пленными французами; но все это относится к области ее минувшего века. Ныне же про нее забыли, и если когда речь ее особы коснется, то думают, что и она сама уже всех позабыла. Лет два-

дцать уже никто из сторонних людей не может похвастаться, что он боярыню Плодомасову видел. Сидит она двадцать лет в обширном доме своем с двумя карликами, да еще вхож к ней временем духовник ее, отец Алексей, поставленный во священники по ее же, Марфы Андревниному, ходатайству из причетников. Я, как новожил в этих местах, боярыню Плодомасову представить себе не мог никак и имел одно о ней мнение, что должна она быть уже страшно стара и ветха, как прошлогоднее пугало. Но напрасно.

Третьего дня, часу в двенадцатом пополудни, я был несказанно изумлен, увидев подъезжающие ко мне большие господские дрожки, запряженные тройкою больших рыжих коней, а на тех дрожках нарочито небольшого человечка в картузе ворсистой шляпной материи с длинным козырем и в коричневой шинели с пречасто устроенными одна над другою перелинками.

“Что бы сие, думаю, за неведомая особа, да и ко мне ли она едет, или только ошибкою правит на меня путь свой?” Размышления эти мои, однако же, были скоро прерваны самою сею особою, которая вошла в мою зальцу с преизящною приличностью и прежде всего прямо попросила моего благословения, а затем, шаркнув своею малою ногою по полу и отступив с поклоном назад, присовокупила: “Госпожа моя Марфа Андреевна Плодомасова приказали мне, батюшка, вам кланяться и просить вас немедленно со мною к ним пожаловать”.

– Позвольте, – говорю, – сударь, узнать, чрез кого я имею честь слышать это госпожи Плодомасовой приглашение?

– Крепостной человек ее превосходительства Марфы Андревны, Николай Афонасьев Зайцев, батюшка, – отрекомендовалась мне сия крошечная особа и при сем снова напомнила, что госпожа его меня ожидает.

– По какому делу, – говорю, – не знаете ли?

– Ее господской воли, батюшка, я, раб ее, знать не могу, – отвечал карла, и сим ответом до того меня сконфузил, что я начал перед ним изворачиваться, будто я спрашивал его вовсе не в том смысле, а в каком бы то в ином таковой вопрос мог быть сделан?

Пока я в смежной комнате одевался, карлик сей вступил в собеседование с Наташею и совсем увлек и восхитил мою попадью своими речами. Действительно, и в словах, да и в самом говоре сего крошечного старичка есть нечто невыразимо милое, и ко всему этому благородство и ласковость. Служанке, которая подала ему стакан воды, он положил на поднос двугривенный, и когда сия взять эти деньги сомневалась, сам сконфузился и заговорил: “нет, матушка, не обидьте, – это у меня такая привычка”, а когда попадья моя вышла ко мне, чтобы волосы мне напомадить, он взял на руки случившуюся здесь за матерью замарашку девочку кухаркину и говорит: “Слушай, как вон уточки на бережку разговаривают! Уточка франтиха говорит селезню козырю: “купи коты! купи коты!”, а селезень отвечает: “заказал, заказал””. И дитя

рассмеялось, да и я тоже сему сочинению словесному птичьего разговора невольно улыбнулся. Дорогу не заметил, как и прошла в разговорах с этим пречудесным карлою: столь много ума, чистоты и здравости нашел во всех его рассуждениях.

Но теперь самое главное: наступил час свидания моего с одинокою боярыней.

Не малое для меня удивление составляет, что при приближении сего свидания я, от природы моей неробкий, ощущал в себе нечто вроде небольшой робости. – Николай Афонасьич, проведя меня через ряд с изрядною пышностью и крайнею чистотою содержимых покоев, ввел меня в круглую комнату с двумя рядами окон с цветными стеклами, где мы нашли старушку, немногим чем побольше Николая. При входе нашем она стояла и вертела ручку большого органа, и я уже чуть было не принял ее за самое оригиналку-боярыню и чуть ей не раскланялся. Но она, увидев нас неслышно вошедших по устилающим покой пушистым коврам, немедленно при появлении нашем оставила свою музыку и бросилась с несколько звериною ухваткою в смежный покой, двери коего завешены большою занавесью белого атласа, по которому вышиты цветными шелками разные китайские фигурки.

Эта женщина, скрывшаяся с такою поспешностию за занавесь, как я после узнал, – родная сестра Николая и тоже карлица, но лишенная приятности, имеющейся в кроткой наружности ее брата.

Николай тоже скрылся вслед за сестрою под ту же самую занавесь, а мне указал дожидаться на кресле. Тут-то вот, в течение времени, длившегося за сим около получаса, я и почувствовал некую смягу во рту, столь знакомую мне по бывшим ощущениям в детстве во время экзаменов.

Но наконец настал и сему конец. – За тою же самою занавесью я услышал такие слова: “А ну, покажите-ко мне этого умного попа, который, я слышала, приобык правду говорить?” И с сим занавесь, как бы мановением чародейским, на невидимых шнурах распахнулась, и я увидал перед собою саму боярыню. Голос ее, который я перед сим только что слышал, уже достаточно противуречил моему мнению о ее дряхлости, а вид ее противуречил сему и еще того более. Боярыня стояла передо мной в силе, которой конца и быть не может. Ростом она не очень велика и особенно не дородна; но как бы над всем будто царствует. Лицо ее большой строгости и правды, видно, некогда было нестерпимо прекрасно. Костюм ее странный и нынешнему времени несоответственный: вся голова ее тщательно увита в несколько раз большою коричневой шалью, как у туркини. Далее на ней, как бы сказать, какой-то казакин суконный, цвета несозревшей сливы; потом под казакином этим юбка аксамитная оранжевая и красные сапожки на высоких серебряных каблучках, и в руке палочка. С одного боку ее стоял Николай Афонасьевич, а с другого Марья Афонасьевна, а сзади священник ее, престарелый отец Алексей.

– Здравствуй! – сказала она мне: – я рада тебя видеть.

Я с сим поклонился ей и, кажется, даже и с изрядною неловкостью поклонился.

– Поди же, благослови меня! – сказала.

Я подошел и благословил ее, а она взяла и поцеловала мою руку, чего я всячески намерен был уклониться.

– Не дергай руки, – сказала она, сие заметив: – это не твою руку я целую, а твоего сана. Садись теперь и давай немножко познакомимся.

Сели мы: она, я и отец Алексей, а карлики возле ее стали.

– Мне говорили, что ты даром проповеди и к тому же хорошим умом обладаешь. Я уж давно умных людей не видала, и захотела на тебя посмотреть. Ты не посердись на старухину прихоть.

Я все мешался в пустых ответах и, вероятно, весьма мало отвечал тому, что ей об уме моем кем-то сказано.

– Тебя, говорят, раскольников учить прислали?

– Да, – говорю, – между прочим имелась в виду и такая цель в моей посылке.

– Полагаю, – говорит, – дураков учить все равно, что мертвых лечить.

Я отвечал, что не совсем их всех дураками разумею.

– Что ж ты, умными их считая, сколько успел их на путь наставить?

– Нимало, – говорю, – ничего еще не могу успехом похвастать, а теперь и еще того менее надеюсь, потому что кон-

троль некоторый за мною учреждается, и руки мои будут связаны, а зло будет расти.

– Ну, зло-то, – отвечает, – какое в них зло? – так себе дураки божьи. – Женат ты или вдов?

Я говорю: женат.

– Ну, если Бог детьми благословит, то привози ко мне крестить, я матерью буду.

Я опять поблагодарил и, чтобы разговориться, спрашиваю:

– Ваше превосходительство, верно, изволите любить детей?

– Кто же, – говорит, – путный человек детей не любит? – их есть царствие Божие.

– А вы, – говорю, – давно одне изволите жить?

– Одна, отец; одна и давно я одна, – проговорила она вздохнувши.

– Это, – говорю, – тягостно довольно.

– Что это?

– Одиночество.

– А ты разве не одинок?

– Как же, – говорю, – у меня жена.

– Что ж, разве так жена все понимает, чем ты можешь поскорбеть и поболеть?

– Я, – говорю, – женою счастлив моею и люблю ее.

– Любишь, – отвечает, – сердцем, а помыслами души все-таки одинок стоишь. Всяк, кто в семье дальше братнего носа

смотрит, одиноким себя увидит. А я вот сына-то и того третий год не видала. Это скучно.

– Где же, – говорю, – ваш сын теперь?

– В Польше полком командует.

– Это, – говорю, – теперь дело доблестное.

– Не знаю, – говорит, – как тебе сказать, сколько в этом доблести; а по-моему вдвое больше в этом меледы: то поляков нагайками стегают, то у полек ручки целуют. Так от безделья рукоделье им эта Польша.

– А все же, – говорю, – они по крайней мере удерживают поляков, чтобы они нам не вредили.

– Ни от чего они их, – отвечает, – не удерживают, да и нам те полячишки-то поганцы не страшны бы, когда б мы сами друг друга есть обещанья не сделали.

– Это, – говорю, – осуждение вашего превосходительства кажется как бы сурово несколько.

– Ничего, – отвечает, – нет в правом суде сурового.

– Вы же, – говорю, – сами, вероятно, изволите помнить двенадцатый год: сколько тогда единодушия явлено.

– Как же не помнить! – отвечает. – Я сама вот из этого окна видела, как казачищи, что пленных водили, моих мужиков грабили.

– Что ж, это, – говорю, – может быть, что такой случай и случился, репутации казачьей не отстаиваю; но все же мы себя отстояли от того, перед кем вся Европа ниц лежала.

– Да, случилось, – говорит, – Бог да мороз помогли, так

и отстояли.

Отзыв сей, сколь пренебрежительный, столь же и несправедливый, повлиял на меня так пренеприятно, что я, даже не скрывая сей неприятности, возразил:

– Неужто же, государыня моя, в вашем мнении все в России случайностями происходит? Дайте, – говорю, – раз случаю, и два случаю, а хоть в третье уже киньте нечто уму и народным доблестям.

– Все, – говорит, – отец, случай, и во всем, что сего государства касается, окроме Божией воли, случайности одни доселе мне видимы. Прихлопнули бы твои раскольники Петрушу воителя нашего – и сидели бы мы на земле до сих пор не государством, а вроде каких-нибудь булгар турецких, да у самих бы этих поляков руки целовали. Много нас – не скоро поедим друг друга: вот этот *случай* нам одна хорошая заручка.

– Грустно, – говорю.

– А ты не грусти: случай выйдет – и грустить перестанешь.

В раздумьи, которое она на меня навеяла, я и еще раз, воздохнув, повторил: грустно!

– Да ты о ком грустишь, отец? – спросила она меня. – О себе или о России? О себе не жалей: случай придет, все перевернется. Теперь ты сидишь передо мною *просто поп*, а когда-нибудь будешь *протопоп*. А за Россию не смущайся. Пускай чужие земли похвалой стоят, а наша и хайкою крепка будет. Да и говорить нам с тобою довольно: устала я, про-

щай. Если бы что худое случилось, прибеги, померекаем: не смотри на меня, что я такой гриб лафертовский: грибы в лесу живут, а и по городам про них знают: кое-где по старинной памяти слово мое, может быть, что-нибудь и значит: – но все это на тот случай, если бы уж очень худо было. А что если на тебя нападают, этому радуйся: если бы ты льстив и глуп был, этого б не было. – Обернулась с этим к карлице, державшей во все это время в руках сверточек, и, передавая оный мне, сказала: “Отдай вот это от меня жене своей: это корольки с моей шеи, два отреза на платье, да холст для домашнего обихода”.

Подарок этот, предложенный хотя во всей простоте, все-таки меня несколько смутил, и я, глядя на нити кораллов и на шелковые материи, сказал: “Государыня моя! Очень благодарю вас за лестное столь внимание ваше к нам; но вещи сии столь великолепны, а жена моя женщина столь простая…”

– Что ж, – говорит, – тем и лучше, что она простая: а где и на муже, и на жене, на обоих штаны надеты, там не бывать проку. Пусть ее в бабьей исподничке ходит, и ты вот ей на исподницы и отвези. Бабы это любят. Отвези ей и ступай.

Вот этим она и весь разговор свой со мною окончила, и признаюсь, несказанно меня удивила. По некоей привычке к логичности, едучи обратно домой и пользуясь молчаливостью того же Николая Афонасьевича, взявшегося быть моим провожатым, я старался себе уяснить, что за сенс моральный все это, что ею говорено, в себе заключает? И не нашел я тут

никакой логической связи, либо весьма мало ее отыскивал, а только все лишь какие-то обрывки мыслей встречал; но такие обрывки, что невольно их помнишь, да и забыть едва ли сумеешь. Уповаю, не лгут те, кои называли сию бабу в свое время мозговитою. А главное, что меня в удивление приводит, так это моя перед нею нескладность, и чему сие приписать, что я, как бы оробев сначала, примкнул язык мой к гортани, и если о чем заговаривал, то все это выходило наибанальнейше, а она разговор словно насмех мне поворачивала с капризнейшею прихотливостью, и когда я заботился, как бы мне репрезентоваться умнее, дабы хотя слишком грубо ее в себе не разочаровывать, – она совершенно об этом небрегла и слов своих очевидно не подготовляла, а и моего ума не испытывала, и вышла меж тем таковою, что я ее позабыть не в состоянии. В чем эта сила ее заключается? – Полагаю, в том образовании светском, которым небрегут наши воспитатели духовные, часто впоследствии отнимая чрез это лишение у нас самонеобходимейшую находчивость и ловкость в беседах с светскими особами.

В сих-то размышлениях едучи, я вспомнил правило, указывающее нам “распознавать сущность предмета изучением производимых им действий”, и позволил себе удовлетворение некоторого любопытства насчет жизнедеяний боярыни Плодомасовой посредством расспроса карлика, и сколь сей ни сдержан и осторожен в речах о госпоже своей, при одном имени которой он каждый раз вставал на дрожках, я все-

таки дознал, что Плодомасова действительно женщина костыль из больших гвоздей. Весь рассказ сего карлы полностию, как его память моя удержала, я занотовываю.[2]

Наслушавшись сего рассказа, в продолжение которого я ни одним словом моим не мог прервать рассказчика, хотя беспрестанно был попеременно волнуем то чувствами страха за сию героиню, то чувствами скорби о судьбе ее, то благоговением к ней, то умилением к тем сторонам ее нрава, коими он касается геройства и младенчества, я, подъезжая к дому, впал в некоторое раздумье и, при первом виде с нагорья на свой домик, впервые почувствовал, сколь мала милая моя Наташа в выдержании некоторых сравнений, если бы была к тому необходимость сравнивать милое нам с тем, что нас поражает.

Но дню сему было определено этим не окончиться, а заключиться куриозом! Первая радость простодушной Наташи моей по случаю подарков не успела меня достаточно потешить, как начал свои подарки представлять нам этот достопочтеннейший и сразу все мое уважение заслуживший карло Николай Афонасьевич. Поначалу он презентовал мне белой бумаги, с красными окоемочками вязанные помочи, а потом жене косыночку из трусиковой нежной шерсти, и не успел я странности сих подарков надивиться, как он вынул

---

[2] Рассказ этот изъят автором из *Демикотоновой книги протоиерея Туберозова* и, в несравненно большем развитии, составит отдельный очерк, который будет помещен в одной из ближайших книг нашего журнала под заглавием “*Боярыня Плодомасова*”. – *Лесков*

из кармашка шерстяные чулки и вручил их подававшей самовар работнице нашей Аксинье. – “Что за день подарков!” – невольно воскликнул я, не смея огорчить дарителя отказом. А он на это мне ответил, что это все его собственных рук изделие. – “Нужды, – говорит, – в работе, благодаря благодетельнице моей, не имея и не будучи ничему иному обучен, занимаюсь вязанием, чтобы в праздности время не проводить и иметь удовольствие кому-нибудь нечто презентовать от трудов своих”. Схапал я этого малого человечка на грудь мою и поцелуями осыпал его чуть не до удушения.

Да закончу ли и сим мое сегодняшнее писание? Уехавшим служителем боярыни Плодомасовой еще все чудеса дня сего не окончились. Запирая на ночь дверь переднего покоя, Аксинья усмотрела на платейной вешалке нечто висящее, как бы не нам принадлежащее, и когда мы с Наташей на сие были сею служанкою позваны, то нашли, во-первых, темно-коричневый французского гроденаплю подрясник; во-вторых, богатый гарусный пояс с пунсовыми лентами для завязок; в-третьих, драгоценнейшего зеленого, неразрезного бархата рясу; в-четвертых же, в длинном куске коленкора полное иерейское облачение.

Просто были все мы поражены сею находкою и не знали, как объяснить себе ее происхождение; но Аксинья первая усмотрела на пуговице у воротника рясы вздетую карточку, на коей круглыми, так сказать, египетского штиля буквами было написано: “Помяни, друг отец Савелий, рабу Марфу в

своих молитвах”. – Ахнули мы, но нечего было делать, и стали разлагать по столу новое облачение. Тут еще больше нас ожидало. Только начала Наташа раскатывать эпитрахиль, – смотрим, из него упал запечатанный конверт на мое имя, а в том конверте пятьсот рублей с самою малою запискою, тою же рукою писанною. Пишет: “Дабы ожидающее семью твою при несчастии излишне тебя не смущало у алтаря предстоящего, купи себе хибару и возрасти тыкву, сидя под коею спокойнее можешь о строении дела Божия думать”.

Ну, за что мне сие? Ну, чем я сего достоин? Отчего же она не так, как секретарь консисторский рассуждает, думающий, что легче устроять дело Божие, не имея, где головы склонить? Что сие и взаправду все за случайности!

Ну, боярыня Плодомасова! Пусть же тебе, голубонька, легонько вздохнется за то, какими ты слезами радости умеешь заставлять людей плакать!

Вот и ты, поп Савелий, не бездомовник! И у тебя своя хатина будет; но увы – должен добавить – *случаем*. Да и не *случай* ли все сие, из чего возникает мое сопоставление моей доброй барыни с оным секретарем, и не *случайно* ли то, что сия помогает тому, над чем он, весь интерес в сем имея, празднословно издевается и что разрушает?

25 ноября. Ездил в Плодомасовку приносить мою благодарность; но Марфа Андреевна не приняла – для того, сказал карлик Никола, что не любит, чтобы ее благодарили. Но к сему прибавил: “А вы, батюшка, все-таки отлично сделали,

что изволили приехать, а то она неспокойна бы была насчет вашей неблагодарности”. – Можно заключить, что в особе сей целое море пространное всякой своеобычливости. Так, например, новый друг мой, карлик Никола, рассказал мне, как она его желала женить и о сем хлопотала. – Для чего же сие? – спрашиваю. – А для пыжиков, – говорит, – батюшка, – это то есть маленьких людей выводить она хотела. – Скажите, о чем забота! Еще ли эти, коих видим окрест себя, очень велики!

6 декабря. Внес вчера в ризницу присланное от помещицы облачение и сегодня служил в оном. Прекрасно все на меня построено; а то, облачаясь до сих пор в ризы покойного отца Петра, человека роста мелкого, я, будучи такою дылдою, не велелепием церковным украшался, а был в них как бы воробей с общипанным хвостом.

9 декабря. Пречудно! Отец протопоп Николай на меня дуется, а я как вин за собой против него не знаю, то спокоен.

12 декабря. Некоторое объяснение было между мною и отцом Николаем, а из-за чего? Из-за ризы плодомасовской, – что не так она будто в церковь доставлена, как бы следовало, и при сем добавил он, что, мол, “и разные слухи ходят, что вы от нее и еще нечто получили”. Что ж – это имеет такой вид, что я не все для церкви пожертвование доставил, а украл нечто, что ли?

24 декабря. Вот слухи-то какие! Ах, Боже мой милосердный! Ах, Создатель мой всеправедный! Не говорю, чести мо-

ей, не говорю, лет ее, но даже сана моего, столь для меня бесценного, и того не пощадили! Гнуснецы! Но сие столь недостойно, что не хочу и обижаться.

Декабря 29. Начинаю замечать, что и здешнее городничество не благоволит ко мне, а за что, сего отгадать не в силах. Предположил устроить у себя в доме на святках вечерние собеседования с раскольниками; но сие вдруг стало известно в губернии и сочтено за непозволительное, и дано мне замечание. Не инако думаю, как городничему поручен за мною особый надзор. Наилучшее к сему шуточно относиться; но окропил себя святою водою от врага и супостата.

1 генваря. Благослови венец благости твоея, Господи, а попу Савелью новый путь в губернию. Видно, и окропление мое не действует.

7 генваря. Госпожа Плодомасова вчера по водоосвящении прямо во всем, что на ней было, окунулась в нарочитую прорубь. – Удивился! Спросил, всегда ли это бывает? Говорят, всегда, и это у нее называется "*мовничать*". – Экий закал предивный: я бы, кажется, и жив от одной такой бани не остался.

20 генваря. Пишу сии строки, сидя в смраднице в архиерейском доме, при семинарском корпусе. К вине моей о собеседованиях присоединена пущая вина. Донесено губернатору, что моим дьячком Лукьяном променена раскольникам старопечатная псалтырь, из книг деевской молельной, кои находятся у меня на сохранении. Дело то и вправду совер-

шилось, но я оное утаил, считая то, во-первых, за ничтожное, а во-вторых, зная тому причину – бедность, которая Лукьяна дьячка довела до сего. Но сие пустое дело мне прямо вменено в злодейское преступление, и взят под начал и послан в семинарскую квасную квасы квасить.

9 апреля. Возвратился из-под начала на свое пепелище. Тронут был очень слезами жены своей, без меня здесь исстрадавшейся, а еще более растрогался слезами жены дьячка Лукьяна. О себе молчав, благодарила, что я пострадал за ее мужа. А самого Лукьяна сослали в пустынь, но всего, впрочем, на один год. Срок столь непродолжительный, что семья его не истощает и не евши. Ближе к Богу будет по консисторскому соображению.

20 апреля. Приезжал ко мне приятный Никола карлик и сообщил, что Марфа Андреевна указала, чтобы каждогодно, на летнего Николу, на зимнего и на Крещение я был трижды приглашаем к ней в плодомасовскую церковь, за что мне через бурмистра будет платимо жалованье 150 руб., по 50 р. за обедню. – Ну уж эти *случайности*! Чего доброго, я их бояться стану.

Августа 15. Вернулся из губернии пономарь Евтихеич и сказывал, что между владыкою и губернатором произошла некая распря из-за визита.

2 октября. Слухи о распре подтверждаются. Губернатор, бывая в царские дни в соборе, имеет обычай в сие время довольно громко разговаривать. Владыко положили прекра-

тить сие обыкновение и послали своего костыльника просить его превосходительство вести себя благопристойнее, сказав при сем, что это не в благородном собрании, да и не в немецкой кирке. Губернатор принял сие амбициозно и через малое время снова возобновил свои беседы; но на сей раз владыко уже сами остановились и громко сказали:

– Ну, уж на сей раз я, ваше превосходительство, замолчу и начну, когда вы кончите.

Очень это со стороны владыки одобряю.

8 ноября. Получил набедренник. Не знаю, чему приписать. Разве предыдущему случаю!

6 генваря 1837 г. Новая новость! Владыко на новый год остановил губернаторскую дочь, когда она подходила к благословению в рукавичке, и сказали: “Скинь прежде с руки собачью шкуру”.

А я до сей поры и не знал, что наша губернаторша не немка.

1 февраля. Представлен к скуфье.

17 марта. Богоявленский протопоп, идучи ночью, от боли с святыми дарами взят обходными в часть, якобы был в нетрезвом виде. Владыко на другой день в мантии его посетили. О, ляше правитель, будете вы теперь сию проделку свою помнить!

18 мая. Владыка переведены в другую епархию.

16 августа. Был у нового владыки. Мужчина, казалось, весьма рассудительный и характерный. Разговаривали о со-

стоянии духовенства и приказали составить о сем записку. Сказали, что рекомендован им прежним владыкой с отличной стороны. Спасибо тебе, бедный дедуня!

25 декабря. Не знаю, что о себе думать, к чему я рожден и на что призван. Попадья укоряет меня, что я и в сей праздник работаю, а я себе лучшего и удовольствия не нахожу, как сию работу. Пишу мою записку с радостию такою и с любовию такою, что и сказать не умею. Озаглавил ее так: “О положении православного духовенства и о средствах, как оное возвысить для его собственной пользы и для пользы государства”. Думаю, что так будет добре. Никогда еще не помню себя столь счастливым и торжествующим, столь добрым и столь силы и разумения преисполненным.

1 апреля. Представил записку владыке. Попадья говорит, напрасно сего числа представлял; по ее уму, число сие обманчиво. Заметим.

10 августа. Произведен в протоиереи.

4 генваря 1839 года. Получил пакет из консистории, и сердце мое, стесненное предчувствием, забилось радостью; но сие было не о записке моей, а дарован мне наперсный крест. Благодарю, весьма благодарю; но об участи записки моей все-таки сетую.

8 апреля. Назначен благочинным. О записке слухов не имеется. Не знаю, чем бы сии трубы вострубить заставить?

10 апреля 1840 года. Год, как благочинствую. О записке слухов нету. Видно, попадья не все пустякам верит. Сегодня

она меня насмешила, что я, может быть, не так подписался.

20 июня 1841 года. Воду прошед яко сушу и египетского зла избежав, пою Богу моему дондеже есмь. Что это со мною было? Что такое я вынес, и как я изо всего этого вышел на свет божий? Любопытен я весьма, что делаешь ты, сочинитель повестей, басен, баллад и романов, не усматривая в жизни, тебя окружающей, нитей, достойных вплетения в занимательную для чтения баснь твою? Или тебе, исправитель нравов человеческих, и вправду нет никакого дела до жизни, а нужны только претексты для празднословия? Ведомо ли тебе, что такое есть поп, сей ненужный человек, которого призвали, чтобы приветствовать твое рождение, и призовут еще раз, чтобы проводить тебя в могилу? Известно ли тебе, что жизнь сего попа не скудна бедствиями и приключениями, или ты думаешь, что его кутейному сердцу недоступны высокие страсти и что оно не слышит страдания? Или же ты с своей авторской высоты не замечаешь меня, попа; или ты мыслишь, что уже самое время мое прошло и что я уже не нужен стране, тебя и меня вскормившей и воспитавшей?.. О *слепец*! скажу я тебе, если ты мыслишь первое; о, *глупец*! скажу тебе, если ты мыслишь второе, и в силу сего заключения стремишься не поднять и оживить меня, а навалить на меня камень и глумиться над тем, что я смраден стал задохнувшися. Сколько тех хитростей употреблено тобою разновременно, дабы осмеять меня, под именем жрецов, браминов и факиров, и сколько посмеется над тобою за весь сей труд

твой позднейший потомок, которому время его даст поразмыслить о результатах нашего принижения и пригнетения. Будет то время, а может быть, и ныне есть, когда по поводу сего не единым человеком вспомнится старая история о экономах хозяевах, истребивших на землях своих всех пернатых, дабы они вишни напрасно не съели, а впоследствии лишившихся за то всех полей от ничтожной тли и мошки.

Но снисхожу от философствования и предрекательства к тому событию, по которому напало на меня сие философствование.

Я отрешен от благочиния и чуть не извержен сана. А за что? А вот за что. Занотую повесть сию с подробностью.

В марте месяце сего года, в проезд через наш город губернатора немца с правителем поляком, предводителем дворянства было праздновано торжество, и я, пользуясь сим случаем моего свидания с губернатором, обратился к оному сановнику с жалобою на обременение помещиками крестьян работами в воскресные дни и даже в двунадесятые праздники, и говорил, что таким образом бедность наша еще увеличивается, ибо по целым селам нет ни у кого ни ржи, ни овса… Но только лишь я слово сие “овса” выговорил, как сановник мой возгорелся гневом, прянул от меня как от гадины и закричал: “Да что вы ко мне с овсом пристали! Я вот, говорит, и то-то, и то-то, да и наконец курц унд штарк,[3] – я не Николай Угодник, – я овсом не торгую!” Этого я не должен

[3] Коротко и сильно – *Нем.* kurz und stark

был стерпеть и отвечал: “Вам, человеку в делах веры невежественному, прежде всего скажу, что Николай угодник был епископ и ничем не торговал и не торгует. А затем вы должны знать, что если нужна наша Русь, то нужны ей и дьяк, и священник, ибо сих одних мы еще у немцев не заимствовали”. Рассмеявшись злобным смехом на мои слова, оный поляк-правитель подсказал мне: “Не бойтесь, отец, было бы болото, а черти найдутся”. Эта последняя вещь была для меня горше первой. Кто сии *черти*? что сие *болотом* твои ляшские уста назвали? – подумал я в гневе и, не удержав себя в совершенном молчании, отвечал польскому кобелю, на Руси сидящему паном, – что “у дурака, сударь, бывает одна речь на пословицу, да и та дурацкая, и что я, уважая сан свой, даже и его, ляха, на сей раз чертом назвать не хочу, дабы сим самым не обозвать свою Русь болотом”. И чем же сие для меня кончилось? Ныне я – *бывший благочинный*, и слава Тебе, Творцу моему, что я еще не *бывый поп* и не расстрига. Нет, сего ты, сочинитель, должно быть не спишешь. Да; будет с твоей головы знать и про одни печеные яйца. – Больно, даже до нестерпимости больно.

3 сентября. Осенняя погода нагоняет жесточайшую скуку. Привык весьма действовать – ныне тоскую, и до той глупости, что даже секретно от жены часто плачу.

27 января 1842 года. Купил у жида за семь рублей органчик да игорные шашки.

Мая 18. Взял в клетку чижа и начал учить под орган.

2 марта 1845 года. Три года прошло без всякой перемены в жизни. Домик свой учреждал да занимался чтением отцов церкви и историков. Вывел два заключения, и оба желаю признавать ошибочными. Первое из них, что христианство еще на Руси не проповедано; а второе, что события повторяются и их можно предсказывать. О первом заключении говорил раз с отцом Николаем и был удивлен, как он это внял и согласился. “Да, – сказал он, – сие бесспорно, что мы во Христа крестилися, но еще во Христа не облекалися”. Значит, не я один сие вижу, а и другие видят; но отчего же им всем это смешно; а моя утроба сим до кровей возмущается.

Новый 1846 год. К нам начинают ссылать поляков. О записке моей еще сведений нет. Сильно интересуюсь политичною заворожкою, что начинается на Западе, и пренумеровал для сего себе газету. Чтение истории кончено.

6 мая 1847 года. Прибыли к нам еще два новые поляка, ксендз Алоизий Конаркевич да пан Болеслав Непокойчицкий, сей в летах самых юных, но уже и теперь каналья весьма комплектная. Городничиха наша, яко полька, собрала около себя целый сонм соотчичей и сего последнего нарочито к себе приблизила. Толкуют, что сие будто потому, что сей юнец изряден видом и мил манерами, но мне мнится здесь нечто иное.

20 ноября. Замечаю нечто весьма удивительное и непонятное: поляки у нас словно господами нашими делаются: все через них у городничего можно сделать и в губернии то-

же, ибо Непокойчицкий оному моему правителю оказывается приятель.

5 февраля 1848 года. Чего сроду не хотел сделать, то ныне сделал: написал на поляков порядочный донос, потому что превзошли всякую меру. Мало того, что они уже с давних пор гласно издеваются над газетными известиями и представляют, что все сие, что в газетах изложено, якобы не так, а совершенно обратно, якобы нас бьют, а не мы бьем неприятелей, но от слова уже и до дела доходят. На панихиде за воинов, на брани убиенных, подняли с городничихою столь непристойный хохот, что отец протоиерей послал причетника попросить их о спокойном стоянии или о выходе, после чего они, улыбаючись, из храма вышли. Но когда мы с причтом, окончив служение, проходили мимо бакалейной лавки Лялиных, то один из поляков вышел со стаканом вина на крыльцо и, подражая голосом диакону, возгласил: *много ли это?* Я все сие понял, что это посмеяние многолетию, и так и описал, и сего не срамлюсь, и за доносчика себя не почитаю, ибо я русский и деликатность с таковыми людьми должен считать за неуместное.

1 апреля, вечером. Донесение мое о поступке поляков, как видно, хотя поздно, но все-таки возымело свое действие. Сегодня утром приехал в город жандармский начальник, Бржебржицкий, и, пригласив меня к себе, долго и в подробности обо всем этом расспрашивал. Я рассказал все, как было; а он объявил мне, что всем этим польским мерзостям на Ру-

си скоро будет конец. Опасаюсь, однако, что все сие, как назло, сказано мне *первого апреля*. Начинаю верить, что число сие действительно обманчиво, да и смущает меня Плодомасихи убежденность, что не быть тут ни правде венца, ни греху конца.

Пусть будет, что *случится*.

7 сентября. Первое апреля на сей раз, мнится, не обмануло: Конаркевича и Непокойчицкого – обоих перевели на жительство в губернию.

25 ноября. Наш городничий с супругою изволили выехать: он определен в губернию полицмейстером.

5 декабря. Прибыл новый городничий. Сей уже не токмо имеет жену польку, но к тому еще и сам поляк. Называется капитан Мрачковский. Фамилия от слова *мрак*. Ты, Господи, веси, когда к нам что-нибудь от *света* приходить станет.

9 декабря. Был сегодня у нового городничего на фрыштыке. Любезностью большой обладают оба, и он, и жена. Подвыпив изрядно, пел нам: “Ты помнишь ли, товарищ славы бранной?” А потом сынишка, одетый в русской рубашонке, тоже пел: “Ах, мороз, морозец, молодец ты русский”. Это что-то новые новости. Рассказывал моей боярыне (коя уже совсем при конце дней своих). Вот, говорю, ляхи какого закала начинаются. – Она сему улыбнулась и отвечала: “Погоди, поживете – еще и не то увидите: они и веру нашу принимать станут. Одни нашу, другие турецкую – все вместе и сойдутся”. Замечательность беседы сего Мрачковского, впро-

чем, наиболее всего заключалася для меня в рассказе его о некоем профессоре Московского университета Редкине, получившем будто бы недавно отставку за то, что на торжественном акте сказал: “Nunquam de republica desperandum”, в смысле никогда не должно отчаиваться за государство, но кем-то, каким-то мудрецом понято, что он якобы велел не отчаиваться в республике, и за сие отставлен. Вот случайность! Сие даже невероятно!

20 декабря. Нет, первое-то апреля не только обманчиво, а и загадочно. Не хочу даже всего со мною бывшего в сей приезд в губернию вписывать, а скажу одно, что руган и срамлен был всячески и только что не бит остался за мое донесение. Не ведаю, с чьих речей, сам-то наш прямо накинулись на меня, что “ты, дескать, уж надоел своим сутяжничеством; не на добро тебя и грамоте выучили, чтобы ты не в свое дело мешался, ябедничал да сутяжничал”. Сердцеведец мой! Когда ж это я ябеды пускал и с кем сутяжничал? Но ничего я и отвечать не мог, потому что каждое движение губ моих встречало грозное: “молчи!” Избыхся всех *лишних*, и се возвратясь сижу, как крапивою выпоронная наседка, и твержу себе то слово: *молчи*, и вижу, что слово сие разумно. Одного единым, единого не понимаю, отчего мой поступок, хотя, может быть, и неосторожный, не иным чем, не неловкостию и необразованностью моею изъяснен, а чем бы вам мнилось? – злопомнением, что меня те самые поляки не зазвали да пьяным не напоили, к чему я, однако, благодаря моего Бога, и не при-

вержен? От малого сего к великому заключая, припоминаю себе слова французской девицы Шарлотты Кордай д'Армон, как она в предказненном письме своем писала, что “у новых народов мало патриотов, кои бы самую простую патриотическую горячность понимали и верили бы возможности чем-либо ей жертвовать. Везде эгоизм, и все им объясняется”. Оно бы, глядючи на одних своих, пожалуй, и я заключить сие склонен; но имея перед очами сих самых поляков, у которых всякая дальняя сосна своему бору шумит, да раскольников, коих все обиды и пригнетения не отлучают любить Руси, подумаешь, что есть еще и любовь к отечеству своему. Вот до чего домыслишься, что и ляхов за нечто похваливать станешь… Однако звучно да будет мне по вся дни сие слышанное мною: *молчи*. Nunquam de republica desperandum.

2 января 1849 года. Ходил по всем раскольникам и брал у ворот сребреники и злотницы. Противиться мне не время; однако же минутами горестно сие чувствовал; но делал ради того, дабы не перерядить попадью в дьячихи, ибо после бывшего со мною и сие возможно. Был и у городничего: он все со мною бывшее знает и весьма меня на речах сожалел; а что там на сердце, про то Богу известно. Но что поистине достойно курьеза и смеха, то это выходка нашей новой акцизной чиновницы Бизюкиной: “Правда ли, – спросила она меня, – что вы доносили на поляков? Как это низко. Вы после этого теперь не что иное, как ябедник”, – а я ей на это отвечал: “а вы после этого не что иное, как дура, да еще и рус-

ская”. Рассуждаю, отчего она так сказала, и нахожу, что всего не семь смертных грехов, а восемь, и восьмой из них должен называться *рыхлость*. Это наш грех русский, им же все мы грешим и за честь себе им грешить поставляем. Опять одни раскольники не так. Достойно ли сие, что я все завидую характерам моих сопротивников?

1 генваря 1849 г. Год прошел тихо и смиренно. Схоронил мою благотворительницу Марфу Андреевну Плодомасову. Скончалась, пережив пятерых венценосцев: Елизавету, Петра, Екатерину, Павла и Александра. Ей наследует Алексей Никитич Плодомасов. Видела она и мою знаменитость *простопопом* и потом, по ее пророчеству, *протопопом*, и приучила меня к злой мысли *о случае*. Жаль ее мне, и я молюсь о ней. – Ждал неприятностей от акцизничихи, которая со связями и могла потщиться пострекать меня через губернию, да все обошлось прекрасно: мы, русские, сколь ни яровиты порою, но, видно, незлопамятны, может, потому, что за нас и заступаться некому. – В будущем году думаю начать пристройку, ибо вдался в некоторую слабость: полюбил преферансовую игру и начал со скуки курить, а от сего траты. Курил спервоначала шутя у городничего, а ныне и дома всею этою сбруею обзавелся. Надо бы и бросить.

1850 год. Надо бросить. – Нет, братик, не бросишь. Так привык курить, что не могу оставить. Решил слабость сию не искоренять, а за нее взять к себе какого-нибудь бездомного сиротку и воспитать. На попадью Наталью Николаевну пло-

ха надежда, даст намек, что будто есть у нее что-то, но выйдет сие всякий раз все к первому апреля подходящее. Да рассмотрев себя, нахожу, что и сам становлюся стар и жирею.

Август месяц. Сделал я себе добрую вставку: собирал, собирал по грошу да по алтыну и, дабы не истратились по мелочи, разменял на серенькие и хватил шилом патоки: оказались все три фальшивые. Ахти, горе мне великое! Плакал, да жег; но потом сам немало над своими слезами смеялся, – что за малодушие.

27 октября. У нас в городе открыты фальшивые деньги в большом количестве, пало подозрение поначалу на арестантов; но, видно, нечто иное таится. Мрачковский внезапно отставлен от должности и поехал в губернию; но скажу лучше: nunquam de republica desperandum.

20 февраля 1853 года. Благородное дворянство избрало нам нового исправника, друга моего, поляка, на коего я доносил во дни моей молодой строптивости, пана Непокойчицкого. Он женился на Кропотовой и учинился нашим помещиком, а ныне и исправником. Все сие, полагаю, интриги да жратва устроили. Зато предводителем избрали сына боярыни Плодомасовой, Алексея Никитича Плодомасова. Таким манером хоть через зерницу есть русская кость. Хвала тебе и за то, благородное дворянство. А в господине Непокойчицком непременно буду иметь врага и, вероятно, наидосадливейшего.

7 апреля. Приехал новый исправник, пан Непокойчицкий,

сам мне и визит сделал. О старой ссоре моей за “много ли это” и помина не делает.

20 мая. Впервые читал у исправника новую газету “Колокол”, господина Искандера. Речь смелая и штилистическая; но с непривычки несколько дико.

2 июня. Вчера, на день ангела своего, справлял пир. Думал сделать сие скромненько – по достоянию, но Непокойчицкий утром прислал целую корзину вина, и сластей, и рому, а вечером все нагрянули, и Непокойчицкий, и новый городничий Порохонцев. Это весьма добрый мужик. Он, подвыпивши зело-зело, стал вдруг меня с Непокойчицким мирить за старое, и я помирился и просил извинения, и много раз с ним поцеловался. Не знаю, к чему мне было сие делать, если бы сам не был тоже в подпитии. Сегодня утром выражал о сем Порохонцеву большое сожаление, но он сказал, что поихнему, по-полковому, не надо о том жалеть, когда подвыпивши целуешься, ибо это лучше, чем выпив да подерешься. Все это так, но все-таки досадно. Служивши сегодня у головы молебен, сам себя поткал в нос кропилом и назидательно сказал себе: “не пей, поп, вина”.

23 августа. Читал записки Дашковой и о Павле Петровиче. Очень все любопытно. С мнениями Дашковой во многом согласен; но что до Петра, о том думаю иначе. Однако спасибо Непокойчицкому, что рассеивает этими книгами мою сильную скуку.

9 сентября. Чуть не размолвился с Непокойчицким на

свадьбе Порохонцева. Он начал, глумяся, распрашивать меня, что значит, что у нас при венчаньи поют: “живота просиша у тебе”? Я хотел было отвечать, что он сие поймет, если ему когда-нибудь петлю под виселицей наденут. Но раздумал и смолчал.

20 декабря. Дьячица вдова по малосмыслию послала своему сыну по почте рублевую ассигнацию в простом конверте, но сей конверт на почте подпечатали и, открыв преступление вдовы, посылку ее конфисковали и подвергнули ее штрафу.

1 генваря 1857. Совсем не узнаю себя. Шесть лет и строки сюда не вписал. Житие мое странное, зане житие мое стало сытое. Перечитывал все со дня преподобия своего здесь написанное и вижу, сколь полезно подобное писание проверить. Достойно замечания, сколь я стал иначе ко всему относиться за сии года, и к стыду своему не могу сказать, чтобы часто о сем сожалел. Я пока уже опять третий год благочинствую, схоронив отца Николая. Сам не воюю, никого не беспокою и себе никакого беспокойства не вижу. Укатали сивку крутые горки, и против рожна прати более неохота. Но далеко, однако, несколько далеко уж зашел я по сему пути гладкому и снова ткнут некоторым событием записать себе малую нотаточку. Все сии годы читал постоянно упомянутую газету “Колокол” и прочее многое в этом роде за границею печатаемое и не раз высказывал удивление: как сии листы здесь получаются? но спросить о сем, обыкновенно, считал за неловкость и за неделикатность. Но вчерашнего числа,

случась у исправника при разборе губернской почты, разломил, балуясь, один конверт и в нем нашел, в сем казенном конверте, эту запрещенную газету – и весьма сконфузился, но исправник, смеясь, сказал мне: “Что же, ничего, отче, – ты наш брат Исаакий, с нами и поплясывай”. Вот как надо быть осторожным. Как стрекоза, не успел оглянуться, а уж тебя и мордой тычут, что и ты, мол, такой же! Теперь, может, и сам станешь объяснять “живота просиша” так, как он по бесстыдству своему объясняет.

20 октября. Вместо скончавшегося дьякона Прохора, прибыл новый дьякон кафедрального собора, Ахилла Десницын. Сей всех нас больше, всех нас толще, и с такой физиономией, и с такой фигурой, что надо, глядя на него, радоваться. Голос имеет весьма добрый, нрава веселого, и на первый раз показался очень почтителен. Но наипаче всего весел приятностью нрава. Предъявлял мне копию с своего семинарского аттестата, в коем написано: “Поведения хорошего, но *удобоносителен*”. А что сие означает? – спросил я. – А то, – обяснил он, – что, будучи в горячечной болезни в семинарском госпитале, проносил больным богословам водку. И сие, мол, изрядно.

9 сентября. Получил камилавку и крест, по чьему бы, мнилось, ходатайству? А все сие по засвидетельствованию милостивца моего, пана Непокойчицкого, о моей рачительности по благочинию. Ну, спасибо ему. Сколь я его не понимал и сколь ожидал от него неприятностей, а вышло все сие

обратно и в пользу.

7 марта 1858 года. Исход израилев был: поехали в Питер Россию направлять на все доброе все друзья мои, и губернатор, и его оный правитель, да и нашего Непокойчицкого за собою на изрядное место потянули. Однако мне его даже искренно жаль стало, что от нас уехал. Скука будто еще более.

7 декабря. По указанию дьячка Сергея, заметил, что наш новый дьякон Ахилла малодушник: многих проходящих богомольцев он из честолюбия благословляет потаенно иерейским благословением, и при сем еще особенно как-то поддерживает левой рукою правый рукав рясы. Сказал, дабы сего отнюдь вперед не было.

18 июля 1861 года. Дьякон Ахилла опять замечен в том, что благословляет. Дабы уменьшить его подобие со священником, я изломал его палку, которой он даже и права носить по своему чину не имеет. Перенес все сие благопокорно и тем меня ужасно смягчил.

15 августа. Пировали у городничего, и на сем пиру чуть не произошел скандал по поводу спора об уме, и напомнило мне это старый спор, которому в молодости моей когда-то смеялся. Дьякон Ахилла и лекарь Пуговкин сразились в споре обо мне: лекарь отвергал мой ум, а дьякон возносил. Лекарь сказал, что умнее меня масса людей, и оный давно припомненный Соломон, и Ньютон, и министр юстиции, а дьякон утверждал, что министр юстиции настоящий только и могу быть я. – “Чем ты сие докажешь?” – спросил лекарь. –

“А вот чем”, – сказал дьякон и не зная, что выразить, с сим посадил лекаря на шкаф, с коего тот не мог по трусости своей соскочить.

Тогда на шум и на крик лекаря вошли мы, и я с прочими, и, достаточно дьякона за сию шалость пощуняв, сказал, что сила не доказательство. А он за сие мне поклонился и, отнесясь к лекарю, добавил: “Видишь теперь, что он министр юстиции!” Человек сей как бы провидит, что я его люблю, сам за что не ведая, и сам меня любит, отчета себе в сем не отдавая.

1 генваря 1862 года. Даже новогодия пропускаю и ничем оставляю отмеченные. Сколь горяч был некогда ко всему трогающему, столь ныне обычно несколько ко всему отношусь. Протопопица Наталья Николавна говорит, что я каков был, таков и сегодня; а где тому так быть! Ей, может, это в иную минуту и так покажется, потому что и сама Сарриных лет дожила; но а мне-то это виднее… Тело-то, шут ли по нем – тело-то здорово и толсто, да душа-то корой обрастает. Вижу многое и непростительно равнодушествую. Вижу, что нечто дивное нам на Руси готовится и зреет; в судах лихоимство ожесточенное; в молодых головах шатость; восьмой смертный грех все усиливается; а поляки сидят председателями, и советниками, и командирами. Образуется нечто систематическое: народу то потворствуют и мирволят, то внезапно начинают сборы податей, и поступают тогда беспощадно, говоря при сем, что сие “царская подать”. Дивно, что все-

го сего как бы никто не замечает. Повсюду окрест, как Непокойчицкий говорил, “тихо вшендзе, но цо то бендзе”. Из Петербурга весьма нередко стали получать “Колокол” и некоторые печатные воззвания. Удивляемся, кто бы сим одолжением нас одолжал, и вспоминаем оный вдовицын рубль, столь прозорливо люстрациею почтовою обнаруженный.

27 марта. Запахло весною, и с гор стремятся потоки. Дьякон Ахилла уже справляет свои седла и собирается опять скакать бедуином. В сем ему не мешаю, – скука, а он сложения живого, – пусть в чем-нибудь имеет рассеяние.

23 апреля. Ахилла появился наруже со шпорами, которые нарочито заказал себе для езды изготовить Пизонскому. Я взял и моими собственными ногами шпоры эти от Ахиллиных сапог одним ударом отломил, а его просил и самое наездничество на сей год прекратить. Итак, он ныне у меня под запрещением: его нельзя не воздерживать.

2 сентября. Дьячок Сергей сегодня донес мне, что дьякон ходит ночами с ружьем на охоту. Сергею сказал, что сему не верю, а дьякона изрядно намылил.

9 сентября. С дьяконом справы нет: жесточайше иссек дьячка Сергея ремнем, не поручусь, что, может быть, и из мщения, но говорит, что за некое будто бы богохульство. Дабы не допустить сего до приказных судов, призвал их, битого и небитого, и настоятельно заставил их подрать друг друга в моем присутствии за уши, поклониться друг другу в ноги и примириться, и при сем заметил, что дьякон Ахилла

все сие исполнил со всею искренностью. – В сем мужике, по минутной его горячности, немало голубиного чувства порою замечать можно.

14 сентября. Дьячок Сергей, придя будто бы за наполом для капусты, донес мне, что сегодня вечером у фокусника, который проездом показывает в кирпичных сараях силача и великана, будет на представлении дьякон Ахилла. Прегнусный, мстительный характер у сего Сергея.

15. Я пошел от скуки подсмотреть это представление, и все достаточно видел сквозь щелочку в воротищах. Ахилла точно был, но более не зрителем, а как бы сказать, актером. Он показался в большом нагольном тулупе, имея воротник тулупа обвязанным ковровым платком, скрывавшим его волосы и часть лица, но я, однако, немедленно узнал его, а дальше и мудрено было не узнать его, потому что когда вышел сей великан в голотелесном трике и, взяв в обе руки по пяти пудов, обнес сию тяжесть перед скамьями, где сидела публика, то Ахилла, забывшись, закричал своим голосом: *ничто же в этомдивного!* Затем, когда великан нахально вызывал бороться с ним, и никого на сие состязание охотников не выискивалось, то Ахилла, утупя лицо в оный обвязный платок ковровый, вышел и схватился. Я полагал, что кости их сокрушатся: то сей гнется, то оный, и так несколько минут, но наконец Ахилла сего немца сломал и, закрутив ему ноги на подобие, как подают в дворянских домах жареных пулярок, взял оные десять пудов, да вдобавок его самого и

начал со всем этим ходить перед публикой, громко кричавшей ему браву (к коей, признаюсь, и я из засады моей присоединился). Дивнее же всего он конец сему сделал: “Господа! – обратился. – Может, кто вздумает, что я кто другой: сделайте милость, плюньте, потому я мещанин Морозов из Севска”. Кто-то его, изволите видеть, будто просил об этом объяснении! – Но, однако, я всем этим весьма от скуки позабавился. Ах, в чем проходит жизнь! Ах, в чем уже прошла она! – Идучи назад от сараев, я впал в нервность какую-то и прослезился, сам о чем не ведая, но чувствуя лишь, что есть что-то, чего нельзя мне не оплакивать, когда вздумаю молодые планы мои и посравню их с продолженною мною жизнью моею! Мечтовал некогда обиженный, что с достоинством провести могу жизнь мою, уже хотя не за деланием во внешности, а за самоусовершенствованием собственным; но не философ я, а гражданин: мало мне сего: нужусь, скорблю и страдаю без деятельности в подъем сил моих и от сего не всегда осуждаю живые склонности моего Ахиллеса. Бог прости и благослови тебя, дьякон, за простоту твою, в которой все тебя утешает. – Сергею дьячку сказал, что он врет про Ахиллу, и запретил ему кляузничать.

29-го сентября 1862 года. Приехал из губернии сын никитской просвирни Марфы Николаевой Омнепотенской, Варнавка. Окончил семинарию первым разрядом, но в попы идти отказался, а прибыл сюда в гражданское уездное училище учителем математики. На вопрос мой, отчего не пожелал

в духовное звание? коротко ответил, что не хочет быть обманщиком. Не стерпев сего ответа, сказал ему, что он глупец. Однако, сколь ни ничтожным сего человека и все его мнения почитаю, но уязвлен его ответом, как ядовитою осою. Где мой проект о положении духовенства и средствах возвысить оное на достойную его степень, дабы глупец над ним не глумился и враг его сему не радовался? Видно, правду попадья моя сказала, что, может быть, написал хорошо, да нехорошо подписался. Духовенство бедно, коснеет в невежестве и принижении и проникается большими пороками; а время настает, что в нем будет надобность. Шуткою сказаное отцом Николаем слово, что Русь во Христа крестилась, но еще во Христа не облеклась, только тем и легко, что оно сказано шуточно, а в существе, оно слово жестокое. Кем же, однако, принесется ей сие облачение? Омнепотенский и все ему подобные уверяют, что народ днесь и мудр, и силен. Не знаю, откуда они берут это. Что народ силен, сему не противоречу, но что он мудр – в сие не верю, ибо сего ни в чем не вижу. Я этот народ коротко знаю и так его понимаю, что ему днесь паче всего нужно христианство. Каковы бы судьбы его ни были, а оно ему днесь нужно, и я сие говорю не потому, что я – поп, а потому, что это для меня ясно. В народе сем я вижу нечто торгашеское: все он любит такое, из чего бы ему было что уступить. Калач пятак стоит, и сие каждому весьма ведомо, но он все еще не преминет случая за него поторговаться и два старых гроша сулит. Что же с ним сделают твои правила,

твои *прификсы*, которые ты ему предложишь, – да еще буде он их читать станет. А буде и прочтет, то что из него будет, когда он из них малую малость для своего обихода уступки потребует? Явится он виноватым перед твоими правилами, а ты его судьею. Сила моя – иная сила. Не в рассуждении истин веры, а уже в нынешнем гражданском интересе говорю, что я могу более тебя сделать. Промеж нас с тобой полоса проведена. Ты, указывая на сию полосу, говоришь: “что вниз сего, за то я карать буду”, и вся речь твоя о том, что вниз идет; а я показываю, что от нее вверх пошло и чему вверх границы нет, даже до смерти крестныя. Из твоего одну нить поступись, и ты впал уже во зло и в преступление: из моего поступись шагами гиганта, и ты все еще не худой человек, по твоим правилам. По твоим правилам можно идти, не опускаясь ниже черты отмеренной, и быть весьма злым и недобрым, и ты за сие не накажешь, ибо закон твой законную жестокость терпит и обстаивает; а мой судья – совесть – и за незримое, и за оправдимое тобою карает. В чем же я обманщик и чем я тунеядец, как ныне многим доказать хочется? Мой брат был Ослябя, проливавший кровь свою; мои братья на Украине и в Галиче народ от польщизны спасли и отратовали, а ты, глупец, меня обзываешь обманщиком? Кого сам я обманул в жизнь мою? Никого не обманул я и не кривил душою моею; но я уже стар, и мне оное давнее “молчи” и поднесь памятно, и будет памятно, вовеки. Но и сегодняшний день не боюсь я твоей гортани и сумею заткнуть ее. Одно вижу, что устарел,

однако, и вместо убеждения ставлю свою гневливость; а сие худо. Но как и не гневаться, когда вспомнишь, что всего ныне бываемого могло бы и не быть, и ослы не кололи бы своими спицами глаз наших за нестроение бедной семьи левитовой. Как не скорбеть и не гневаться, видя, что поп и дьяк в ином месте точно хорьки живут, и живут так на радость врагов нашего отечества и на радость разрушителей вроде сего глупца Омнепотенского, им же имя стало *легион*.

3-го октября. Познакомился у городничего с Александрой Ивановной Серболовой и весьма рад сему знакомству. На плевелах прозяб клас добрый. Что за ум, и что за сердце чувствительное! Полагаю, что такова должна была быть Дашкова, или в сем роде. Разговаривали об Омнепотенском; она сказала мне, что это не его одинокая глупость, а что это такое учение, называемое – нигилизм. Стало, сия глупость, так сказать, коллективная. Обещала прислать мне два журнала, где это учение проводится.

7-го ноября. Прочитал бездну неразумия. Учение не новое: нечто заимствовано, вижу, от скептиков; нечто от циников; нечто же, самое глупое, свое добавлено и воедино смазано. Самое замечательное в сих книгах встречал упоминание о книге “О сельском духовенстве”. Где бы сию книгу взять?

16-го ноября. Серболова сказала, что книга о сельском духовенстве запрещенная. Несколько странно. Нам запрещена, а сии, как их называют, *нигилисты* ее читают.

22-го ноября. Ездил в губернию на чреду. При двух архи-

ерейских служениях был сослужащим и в оба раза стоял ниже отца Троадия, а сей Троадий до поступления в монашество был почитаем у нас за нечто самое малое и, отстав от меня в синтаксисе, был из реторики за неспособностью исключен. Пустое дело, а, однако, это меня оскорбило. Но зато у него как у архимандрита нашлась желанная книжка “О сельском духовенстве”, и я ее с азартом у него же в келейницкой прочитал и дал за сие похитившему ее келейнику целковый. О, сколько правды! сколько ума и любвеобилия! Мню, что отец Троадий не все здесь написанное с апробациею и с удовольствием читает. Отец Б., то есть ты, во Христе брат мой и автор сей доблестнейшей книги! прими низменный поклон и братское лобзание от остаревшего попа Савелия.

14-го декабря. За раннею обеднею взошел в алтарь Омнепотенский и просил отслужить панихиду. Удивился его богомольности, но облачился и вышел к жертвеннику. Удивление мое возросло, когда увидал здесь и безбожницу акцизничиху и всех поляков. И загадка сия недолго оставалась загадкою, ибо я тотчас же все понял; когда Ахилла стал по записке читать: Павла, Александра, Кондратья… Это я, выходит, отпел панихиду за декабристов. Вперед буду умнее, ибо хоша молиться за всех должен, но в дураках-то у дураков дважды быть не согласен. Причту не подал никакого виду.

27-го декабря. Ахилла в самом деле иногда изобличает в себе уж такую большую легкомысленность, что прощать его невозможно. Младенца, что призрел Пизонский, сей послед-

ний просил научить какому-нибудь стихотворному поздравлению для городского головы, а Ахилла, взявшись за сие поручение, втвердил ему:

Днесь Христос родился,
А Ирод царь взбесился:
Я вас поздравляю
И вам того же желаю.

Младенец так и отляпал, а теперь это ходит по всему городу.

11 января 1863 года. Был страшный паводок, и принесло откуда-то сверху неизвестное мертвое тело. Омнепотенский привел на вскрытие несколько учеников, а потом в классе говорил: видели ли тело? Отвечают: видели. – А видели ли кости? – И кости видели. – И все ли видели? – Все видели, – отвечают. – А души не видали? – Нет, души не видали. – Ну, так где же она?.. – И решил им, что души нет. Я обратил на сие внимание смотрителя и сказал, что не премину сказать об этом при директорской ревизии.

Вот ты, поп, уже и потребовался. Воевал ты с расколом – не сладил; воевал с поляками – не сладил, теперь ладь с этой дуростью, ибо это уже плод от чресл твоих восстает. Сладишь ли?.. Погадай на пальцах.

2-го февраля. Болен жабою и не выхожу из дому, и уроки в училище вместо меня преподает отец Захария. Сегодня он пришел расстроенный и сконфуженный и со слезами от

преподавания уроков вместо меня отказывается, а причина сему такая. Отец Захария прошлый урок в третьем классе задал о Промысле и, истолковав его, стал сегодня отбирать заданное; но один ученик, бакалейщика Лялина сын Алеша, вдруг ответил, что “он только признает Бога творца, но не признает Бога промыслителя”. Удивленный таким ответом, отец Захария спросил, на чем сей богослов основывает свое заключение, а он отвечал, что на том, что в природе много несправедливого и жестокого, и на первое указал на смерть, посланную всем за грехопадение одного человека. Отец Захария, вынужден будучи так этого дерзкого ответа не бросить, начал разъяснять ученикам, что мы, по несовершенству ума нашего, сему плохие судьи, и подкрепил свои слова примерной посылкой, что если бы были вечны мы, то вечны же были бы и кровожадный тигр, и свирепая акула, и достаточно сим всех убедил, но на вторых часах, когда отец Захария был в низшем классе, сей самый мальчик вошел туда и там при малютках опроверг отца Захарию, сказав: “а что же бы сделали нам кровожадный тигр и свирепая акула, когда мы были бы бессмертны?” Отец Захария по доброти своей и ненаходчивости только и нашелся ответить, что “ну, уж о сем люди умнее нас с тобой рассуждали”. Но это столь старика тронуло, что он у меня час добрый очень плакал; а я, как на зло, все еще болен и не могу выйти, чтобы погрозить этому дебоширству.

13-го генваря. Алеша Лялин, будучи выпорон отцом за

свое рассуждение с отцом Захариею, под лозами объявил, что сему первому вопросу и последующему ответу научил его учитель Омнепотенский. Негодую страшно; но Пуговкин говорит, что выйти мне невозможно, что у меня будто рецидивная angina[4] и затем проторю дорожку ad padres,[5] а сего бы еще не хотелось. Жаль, не скажу, жизни, ибо ясно уже, что пройти ей без значения, а жаль Наташи, отца Захарию и сего моего Ахиллеса, который без меня непременно попадет в шкандал. Писал смотрителю записку и получил ответ, что Омнепотенскому им сделано замечание. Да, *замечание*. За растление умов, за порицание убеждения религийного, за оскорбление честнейшего, кроткого паче всех человека – замечание, а променяй псалтирь старую на новую, то семью целую на год без хлеба.

18-го генваря. Омнепотенский отца Захарию заклевал. Научил Лялина спросить его: правда ли, что пьяный человек скот? – "Да, скот", – отвечал отец Захария. – "А где же его душа в это время?" – Отец Захария смутился и ответил только то, что: "а ну, погоди, я вот еще и про это отцу скажу". Что же это за каналья этот просвирнин сын!

19-го генваря. Лялин вновь выдрал сына лозами и с сим вместе взял его из училища, сказав, что здесь не училище, а разврат содомский. Ненавижу жабу, которая мне в эти минуты стиснула горло. Вот живой приклад, что такое может

---

[4] Горловая жаба, воспаление горла – *Лат.*

[5] К отцам – *Лат.*

сделать одна паршивая овца, если ее в стадо пустят! Вот наука и к тому, что музыканту мало трезвости, а нужно и искусство. Первый приклад дает Омнепотенский, второй – мой отец Захария. Ради просветителя Омнепотенского из школы детей берут, а отец Захария, при всей чистоте души своей, ни на что ответить не может. Вот когда уши мои выше лба хотят вспрыгнуть. Да, теперь чувствуешь ли, разумный гражданин, что я не совсем дармоед и не обманщик? Чувствуешь ли? И ежели чувствуешь сие, то чувствуешь ли и то, что я хил, стар и отупел от всех оных "молчи"… А что еще там на смену мне растет? Думай о них, брате мой, думай о них, искренний мой и ближний, зане враг внюду нас встал, и сей враг плоть от плоти нашея. Ныне он глуп и юродив, в варнавкиной кожуре, но старый поп, опытом наученный, говорит тебе: на страже стой. Где теперь Мрачковский? Где Непокойчицкий и оный мой правитель? Какого они плана держатся? Сколь они умнее стали с тех пор, как реготали в храме и пели на крыльце "много ли это" вместо *многая лета*? Пойди ныне лови! Сунься… Они тебя поймают. Не страшусь Омнепотенского и братии его; но страшусь за мать мою родину, да не перерядятся когда-либо сии дурни в иную шкуру. Но "nunquam de republica desperandum".

21 генваря. Скажешь себе слово под руку, да и сам не обрадуешься. Еще и чернило с достаточною прочностию не засохло, коим писал, что "лови их, они сами тебя поймают", как уже и изловлен. Сегодня пришел ко мне городничий По-

рохонцев и принес копию с служебной бумаги из Петербурга. Писано, что до сведения высшего начальства дошло о распространении в наших местах газеты “Колокол” и прочих секретных сочинений и что посему вменяется в обязанность распространение сих вещей строго преследовать; а подписано – наш “Непокойчицкий”! Уж это не сам ли он шутки сии шутит?

23. Так это и есть, как предполагалось: это все Непокойничицкий сам зудит и сам почесывает. Сегодня городничий получил от него письмо насчет продажи хлеба в имении жены его, и там же в том письме приписочка о *колокольном звоне* столь ясная, что и загадывать нечего, кто шлет; вдобавок к сему и еще один нумер сей газеты, да и в казенном пакете. Я и читать не стал, хотя Порохонцев над сим всячески забавлялся. Много бы дал, чтобы не быть в сей компании чтецов. Пользы сим чтением не приобрел для себя нисколько, а будто чем с ними в одно спутан.

27. С Омнепотенским справы нет. Рассказывал на уроке, что Иона пророк не мог быть во чреве китове, потому что у огромного зверя кита все-таки весьма узкая глотка, и еще говорил нечто неуважительное о Пресвятой Деве.

2-го февраля. Почтмейстер Тимофей Иванович, подпечатывая письма, нашел описание тугановского дела, списанного городничим для Непокойчицкого, и все ему очень смеялись. Начто же все сие делают – начто и подпечатывание с болтовством, уничтожающим сей достойной операции вся-

кое значение, и корреспондирование революционеру от полицейского чиновника? Не достойнее ли бы было, если бы ничего, ни того, ни другого, совсем не было?

14-го февраля. Все еще болен и не выхожу. Читал книгу журнала, где в одной повести выводится автором поп. Рассказано, как он приехал в село и как он старается быть добрым и честным, но встречает к тому ежечасные препятствия. Хотя все это описано вскользь и без знания дела, но весьма тому радуюсь, что пришла автору такая мысль. Настал час, чтобы светские люди посмотрели на нас, а мы в свою очередь в их соображения и стремления вникли, не рассуждая только по мамону да по семинарскому богословию. Особенно мне сие приятно, что я предвидел, что рано или поздно сие будет, а ныне далее того предусматриваю, что будет что-либо и больше, с большею любовию к сему делу совершенное. Ахилла дьякон, видя, что я скучаю, и желая меня в болезни рассеять, привел ко мне собачку Пизонского, ублюдочку пуделя, коему как Ахилла скажет: “собачка, засмейся!”, она как бы вправду, скаля свои зубы, смеется. Опять сядет перед нею большущий дьякон на корточки и повторит: “засмейся, собачка!” – она и снова смеется. Сколь детски близок Ахилла к природе и сколь все его в ней занимает!..

17-го февраля. Омнепотенский вывел меня из терпения. Я его и человеком более вовсе считать не могу после того, что он сделал. Это все, до чего безумие довести может. За бо-

лезнию учителя Гонорского, Омнепотенскому поручено временно читать историю, а он сейчас же начал толковать о безнравственности войны и относил сие все прямо к событиям в Польше. Но этого мало ему было, и он, глумясь над цивилизациею, порицал патриотизм и начала национальные, а далее осмеивал детям благопристойность, представляя ее во многих отношениях безнравственною, и привел такой пример сему, что народы образованные скрывают акт зарождения человека, а не скрывают акта убийства, и орудия, нужные для первого, таят, а ружья войны на плечах носят. Чего сему глупцу хочется? По правде, сие столь глупо, что и подумать стыдно, а я все сержусь и сержусь. Мелочь сие; но я ведь мелочи одне и назираю, ибо я в мале и поставлен.

18-го февраля. Приехал директор. Я не вытерпел и, хотя лекарь грозил мне опасностью, однако вышел и говорил ему о бесчинствах Омнепотенского; но директор всему сему весьма рассмеялся. Что это у них за смешливость! Обратил все сие в шутку и сказал, что от этого Москва не загорится, – “а впрочем, – добавил с серьезною миною, – я ему замечу; но где же мне прикажете брать других? Они все ныне такие прибывают”. И вышел я же в смешных дураках, как бесполезный хлопотун. Видно, так этому и быть следует. Подождем, авось Омнепотенский новую нравственную моду покажет и начнет носить к плечу вместо ружья нечто другое, и будет сам сим орудием своему ученому начальству достойную почесть отдавать.

19-го февраля. И вправду я старый шут верно стал, что все надо мною шутят. Пришли сегодня ко мне лекарь с городничим, и я им сказал, что здоровье мое от вчерашнего выхода нимало не пострадало; но они на сие рассмеялись и отвечали, что лекарь это шутя продержал меня в карантине, ибо шел об заклад с поляком Августом Кальярским, что я месяц просижу дома. Неужто же я только на посмешку годен? Удивительно, что это за шутливость всеми обладает.

23 февраля. Дьякон Ахилла явился на гулянье в низенькой шапочке и с тросточкой. Заметил, чтобы сего вперед не было. Оправдывался тем, что это ему всю сбрую подарил Кальярский. Кальярский начинает давать деньги под залоги.

7-го мая. Освящен костел, и в нашем куту загудели органы. Костел очень маленький, но для укусу гнездо невеличко и требуется. Ходил ради любопытства слушать проповедь ксендзовскую, и недаром. Уразумел мало, но хорошо. Понравилось, что какой-то их "*свентый Полуэктус письмо цесарское противу костела сдрапал*". Это отлично! Пытал по любопытству, откуда сей материал отличный для проповеди заимствован, что святые письма цесарские противу костелов драпали? – оказалось, что сие из сказаний великого Скарги Хризостома иезуита. "Его сочинение, – ксендз объяснил мне, – имело более двадцати изданий, и наилучшее в Петербурге сделано". Еще бы не в Петербурге! Драпайте, други, драпайте! Ах, сколь все сие у них удобно для их целей приснащено! А ты, поп Савелий, помни-ка оное "молчи".

14-го мая. Омнепотенский и в моем присутствии мало изменяется. Добыв у кого-то из раскольников весьма распространенную книжечку с видами, где антихрист изображен архиереем в нынешнем облачении, изъяснял, что Христос был социалист, а мы, попы и архиереи, как сему противимся, то мы и есьмы антихристы. Противу сего я умышленно заговорил о мусульманском учении и привел на своем уроке мнение некоего муллы, ожидавшего чувственного явления антихриста в образе осла, то есть самого безмозглого животного, коим и представил Омнепотенского. Однако все сие меня очень расстроило, что сколь борьба моя мелка и на кого я должен гневаться, и я жажду освежиться.

20-го июля. Отлично поправился, проехавшись по благочинию. Так свежо и хорошо в природе, на людях мир и довольство замечается. В Благодухове крестьяне на свой счет поправили и расписали храм, но опять и здесь со стороны живописи явилось нечто в игривом духе. Изобразили в притворе на стене почтенных лет старца, опочивающего на ложе, а внизу уместили подпись: “В седьмой день Господь почил от всех дел своих”. Дал отцу Якову за сие замечание и картину велел замалевать.

11-го мая 1863 года. Позавчера служили у нас в соборе проездом владыко. Отец Захария был назначен сказать проповедь и изготовился, но, выйдя на амвон, оробел и только и произнес: “Было время, когда и времени не было”, и за сим стал, и прильпе ему язык к гортани, и, переконфузившись до

остатка, красноречиво умолк. Спрашивал я отца Троадия: стерта ли в Благодухове известная картина? и узнал, что картина еще существует, чем было и встревожился, но отец Троадий успокоил меня, что это ничего, и шутливо сказал, что “это в народном духе”, и еще присовокупил к сему некоторый анекдот о душе и башмаках, и опять все покончили в самом игривом. Эко, сколь им все весело.

20 июня. Ездил в Благодухово и картину велел состругать при себе: в глупом и народному духу потворствовать не нахожу нужным. Узнавал о художнике; оказалось, что это пономарь Павел упражнялся. Гармонируя с духом времени в шутливости, велел сему художнику сесть с моим кучером на облучок и, прокатив его сорок верст, отпустил pedibusque[6] обратно, чтобы имел время в сей проходке поразмыслить о своей живописной фантазии.

12-го августа. Дьякон Ахилла все давно что-то мурлычит. Недавно узнал, что это он вступил в польский хор и поет у Кальярского басом польские песни. Дал ему честное слово, что донесу о сем владыке; но простил, потому что вижу, что это просто учинено им по его всегдашнему легкомыслию.

8-го сентября. Дьякон Ахилла приходил с плачем и, стоя на коленях, исповедывал, что та польская песня, что он пел, есть гимн революции, но он до сегодня слов ее не понимал. Видя его искреннее раскаяние, простил его, и как он наиболее всего просил, дабы никогда его этим не упрекнуть, то дал

---

[6] Пешком – *Лат.*

слово о сем никогда и не вспоминать; а городничему только заметил, как не стыдно, что и он тоже в этих пениях принимал участие. Тоже был очень сконфужен. Советовал им держаться от поляков подалее.

14 сентября. Дьякон Ахилла, повеселев и как бы обновясь, приходил сказать, что он и дома даже той песни не поет, а “сложил, – говорит, – себе такую, что ничего плотского в себе не заключает”. Что же, это, спрашиваю, за песнь? – А вот, – говорит:

Хе-хе-хе хе-хе-хе
Раздается в воздухе!

– Правда, – говорит, – отец протопоп, весьма воздушно? – Истинно, – говорю. – И пою я ее, – говорит, – целый день. – Так, – говорю, – и пой во весь день твой…

12 октября. Был у нас на ревизии новый губернатор. Заходил в собор и в училище и в оба раза непременно требовал у меня благословения. Человек русский и по обхождению, и по фамилии. Очень еще молод, учился в правоведении и из Петербурга в первый раз всего выехал, что сейчас и заметно, ибо все его интересует. С особым любопытством расспрашивал о характере столкновений духовенства с властию предводительскою; но, к сожалению, я его любопытства удовлетворить не мог, ибо у нас что уездный Плодомасов, что губернский Туганов – мужи достойные и столкновений нет.

Говорил, что присутствию поляков не намерен придавать никакого значения, и выразился, что “их просто надо игнорировать”, как бы их нет? ибо “все это, – добавил, – должно стушеваться; масса их поглотит, и их следа не останется”. При сем не без красноречия указал на непрактичность придавать им значение, “ибо (его слова) все это только раздувает несогласие и отвлекает правительственных людей от их главных целей”. Примером сему поставил недавних *нигилистов*, во вражде к коим некоторые противодействующие им издания Бог знает как далеко заходили, тогда как административные умы видели все это яснее и беспристрастнее и, не предаваясь партии страстности, во всем щадили то, что в нем было годного, и обратили все сие в пользу своей системы. При сем он, развивая мысль свою о нетерпимости, привел на память место из речи заслуженного московского профессора Грановского “О современном состоянии и значении всеобщей истории”. Я записал с его слов это место: “В самых позорных периодах жизни человеческой, – гласит речь Грановского, – есть искупительные, видимые нам на расстоянии столетий, стороны, и на дне самого грешного перед судом современников сердца таится какое-нибудь одно лучшее и чистое чувство”. Рекомендовал прочесть некоторые статьи о крайних направлениях в литературе и выразил намерение поднять наши “Губернские ведомости”, дабы сделать по мере возможности получение столичных газет в губернии излишним, по крайней мере, для людей недостаточных. При

моих рассказах о нашем Омнепотенском, улыбаясь, сказал, что это дурак, в чем я с ним и согласился. Много рассказывал о нравах прекращенных уже нигилистов и изрядно над сими нравами издевался. После довольно долгой и вполне приятной беседы с ним, я убедился, что это человек с большими способностями вникать, и впал в раздумье: ради чего я это, бывало, шумлю и волнуюсь, когда есть еще такие люди, при которых любящий отечество человек может спать спокойно, или, как Гоголь шутливо говорит: "брать метлу, да мести лишь *свою* улицу". Действительно, мы уж тоже иногда любим смотреть очень мрачно. Как губернатор сказал: "все Гераклиты да Демокриты – одни весьма плачут надо всем, а другие не в меру смеются". Нужно относиться поспокойнее. Пошлые нигилисты пали же с шумом, и наш Непокойчицкий, бедняга, говорят, взят и заключен в крепость, а вот является человек совсем иного склада и стоит во главе губернии и с властью.

20-го генваря 1863 года. Только что возвратился из губернии и привез оттуда себе последнюю загвоздку. Хотя эта загвоздка лба моего прямо не касается, однако там нечто такое засело, чего не вытащишь. Уже неоднократно слышно было здесь многое о контрах, возникших между новым губернатором и предводителем Тугановым, но все это и до сих пор не известно достоверно, отчего происходит. Говорят, по делам крестьянским; а ведь у Туганова чести много, да и гонору с Араратскую гору. Но случилось другое дело: отстав-

ной солдат с чудотворной иконы Иоанна-воина венец снял и, будучи взят с тем венцом в доме своем, объяснил, что он этого венца не крал, а что, жалуясь на воинскую долю, молил святого пособить ему в его бедности, а святой якобы снял венец, да и отдал, сказав: “мы с тобой оба люди военные, но мне сие не надо, а ты возьми”. Стоит ли такое объяснение внимания какого? Но рассуждено иначе, и от губернатора в консисторию последовал запрос: могло ли происходить такое чудо? Конечно, консистория в затруднении должна все-таки отвечать, что чудо таковое могло быть; но к чему же это воспрошено? Не иначе, как для уничижения ведомства. Что же это такое, если в государстве все один над другим издеваться станут, одной короне присягая? Удивительное дело: смеха ради, что ли, это сделано или еще того хуже?

20 мая. По случаю распространившегося по губернии вредоносного поветрия на скот и людей, в “Губернских ведомостях” напечатали, “чтобы крестьяне остерегались шарлатанского лечения знахарей и бабок, нередко расстраивающих здоровье навеки, а обращались бы тотчас за пособием к местным врачам и ветеринарам”. Что это такое? Где сии *местные врачи и ветеринары*? На триста верст по одному. Припоминая давно читанную мною старую книжечку английского писателя Стерна “Жизнь и мнения Тристрама Шанди”, решаю, что по окончании сего нигилизма, которого я по своему удалению от больших городов не видал, у нас начинается *шандеизм*, ибо сие по Стернову определению та-

кое учение, которое “растворяет сердце и легкое и вершит очень быстро многосложное колесо жизни”. И в этом еще более убеждаюсь, потому что сей Шанди говорил, что если бы ему, как Санхо Пансе, дали бы выбирать для себя государство, то он “выбрал бы себе не коммерческое и не богатое, а такое, в котором бы непрестанно как в шутку, так и всерьез смеялись”. Все это как раз к нам подходящее: и не богаты, и не тороваты, а смешливы гораздо.

21 мая. Помещик Плодомасов вернулся из столицы и привез и мне, и отцу Захарию, и дьякону Ахилле весьма дорогие трости и показывал небольшую стеклянную лампочку с горящею жидкостью “керосин”, что добывается из нефти.

19 июня. Ездил в губернию, сдал книги и возвратился благополучно. Новость одна: некогда здесь бывший ссыльный ксендз Алоизий Конаркевич столь сильно исправился и обрусел, что принял православие, сделался иноком, отцом Алексеем, и проповедником. Значит, нашего полку прибыло.

24 июля. Аминь. Всего столько во мне осталось разума, чтобы постигнуть мог, что я глуп, и ежели не во все дни живота моего был таковым, то таков ныне. Обмелел до того, что некие честолюбивые надписи поделал на подаренных тростях, дабы отличаться себе от отца Захарии, и в сей пошлой мелочности моей честно был Ахиллою дьяконом обличен. И сие в какое время досуг мой позволяет мне над сим изощряться? Когда ксендз Алоизий уже нарицается отец Алексей

и… Кто этот темнолицый идет в среду нас? Боже мой! Пронзила меня мелкость моя, и я уразумел крупность врагов моих, и дрожу, как раненый елень, при виде его! Ты лжешь! Ты не Алексей, а Алоизий! Ты с Скаргой и Лойолой так хочешь удобее “сдрапать” все, как учишь драпать письмо цесарское противу костела! Боже, вразуми меня, есть все это или нет этого, или все это уже двинулось, или все это мне, выжившему из ума старику, кажется? Отселе не радуюсь, но смущаюсь, зачем он пришел в Церковь Бога моего? Отселе не съем хлеба моего в радости, пока не уразумею вхождение твое и кто ты, темнолицый?”

Это была последняя запись между теми, которые Савелий прочитал, сидя над своею синею книгою; затем была чистая страница, которая манила его руку “занотовать” еще одну “нотаточку”, но протоиерей не решался авторствовать. Чтение синей книги, очевидно, еще более растрепало и разбило старика, и он, сложив на раскрытых листах календаря свои руки, тихо приник к ним лбом и завел веки.

Пробыв в таком положении более получаса, отец Савелий медленно восклонился, провел по лбу рукою, принес себе с наугольного столика медную чернильницу и крупно написал: “4 июня 1864 года”.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.